

84.2р.сб(2р53-4Кем)
К92-2005

ВЛАДИМИР КУРОПАТОВ

ДОЛГАЯ НЕДЕЛЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«КОВЧЕЖЕК»



1997



ВЛАДИМИР КУРОПАТОВ

**ДОЛГАЯ
НЕДЕЛЯ**

КНИГА ПРОЗЫ

50776

Издательство

Муниципальное учреждение культуры
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА" (2)

Библиотека-филиал N _____
Кемеровская область, Ижморский район

ББК 84Р7

К93

Книга издана
при поддержке администрации
Кемеровской области

К 4803010201 Без объявл.
ЛР № 030501—97
ISBN 5—86485—009—8

© В. Ф. Куропатов, 1997
© В. П. Кравчук, оформление, 1997

РАССКАЗЫ



СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

Ночевал я на сеновале у чужих людей в чужой деревне. Проснулся от яростных, клубящихся раскатов грома, барабанного боя не частых, но крупных капель по железу кровли и от душного, дурманящего голову запаха свежего сена. Глянул на часы — без четверти семь. Первый автобус уже ушел, до второго гроза наверняка успеет стихнуть. Так что, сказал себе, валяйся вволю. И в этот самый миг квадрат лаза вспыхнул, как взорвался, ослепительным белым светом, и прямо над моей головой сухо и с такой силой треснуло, будто мир раскололся вдребезги, как ореховая скорлупа под кованым каблуком. Меня вдавило в сено, но тут же подбросило, и я, машинально схватив лямку рюкзака, но забыв про обувь, ошалело кинулся, сам не зная зачем, к лазу. Поставил ногу на ступеньку лестницы, а вторую уже не решился — сплошной стеной хлынул дождь. Я вяло осел на заелженный венец сруба.

Сюда же, под козырек сеновала, метнулась с дороги бабушка с ведерком воды. Прислонилась к стене, опустила ношу на землю, запрокинула на меня голову:

— Ка-а-ак он хряснул-то! Испужался?

— Нет, — сказал я.

Бабушка порассматривала меня дождиком доверчиво: ой ли?

— А я так... — засмеялась. Смех молодой, звонкий. — Я

до страсти оробела. Ажно присела. Ровно курка перед петухом.

Чуть припечалилась, сцепила на животе руки и стала смотреть на бойкие ютвесные струны дождя. Невысокая, аккуратненькая, в свежем цветастом переднике, босая, на голове—шалашик белой косынки в частых мокрых рябинах...

Сверкнула молния. Бабушка запоздало заслонила от нее ладонью.

— Восподи...—остальные ее слова я не расслышал: загромыхало снова, но уже не с такой силой, как прошлый раз.

— Ты Казанцевым-то кто будешь?—полюбопытствовала бабушка, не отрывая взгляда от дождя.

— Никто. Случайный ночевальник.—И я объяснил: возвращался из лесу с грибами, ступил не на ту тропку, шел по ней и очутился в незнакомой деревне. Надвигалась ночь, попросился на сеновал—не отказали.

— А я вот чуток всего не дошагала до своей избы,—кивнула на домик через несколько дворов наискось, чем-то напоминающий—своей опрятностью, ухоженностью, что ли,—хозяйку.—Думала: успею, обернусь, да не вышло.

— У вас же, вижу, колонка под самыми окнами. Или не работает?

— Чего ж, работает. На полив, стирку, мытье из нее беру. А пить не могу—ржой ютдает. Вот и хожу вон аж куда, в хмелевский—наш, значит,—колодец. Ведерка мне, одной-то, на день за глаза...

— Это как же,—не понял я,—дом ваш здесь, а колодец там...

— А просто, душа моя.—Бабушка подняла на меня глаза. Были они, я еще раньше заметил, молодые, как и смех ее, и синие-синие.—Раньше, до колхозов-то еще, дом свекра моего там стоял. Место, видишь, широкое, разгульное, а—недоброе: кони зачали падать. У свекра Кузь-

мы Тарасовича кони были ай да ну какие—и все в одну зиму свалились. А то вечером, как солнце зайдет, кто-то зачинает стены с улицы ровно метлой мести. Свекор выйдет, все кругом обсмотрит—никого. Только он в избу—опять метет. Недоброе, сказали старики, место, сымись, мол, Кузьма Тарасович. Пришлось перенести дом сюда. А колодец, как ни ухитрялись, не смогли,—плутовато прищурила глаза.—Теперь тебе понятно?

— Понятно. Ну, а это место как, добрым оказалось?

— Тут ничего, слава Богу. И скотина хорошо велась, и всякий прибыток был, и никакая хворь в дом не входила. Может, все так бы и шло, да война проклятая порушила. Считай, на нет семью извела. Среди них и муженек мой, Гриша... Которые из пушек палят; а ну-ка, скажи, как называются?

— Артиллеристы.

— Вот ём, тирилистом—никак слово не выговорю—Гриша и был. Братья-то раньше погибли, а он перед самым уже концом: четырнадцатого апреля сорок пятого. Похоронку так и берегу—всего-то и памяти от него. Свекор всё говорил: мол, Гринька придет, Бог его сохранит, у Гриньки сын вон растет, а сыну отец нужен. Может, вправду у Кузьмы Тарасовича надея на Бога была, а может, просто себя да нас со свекровкой утешал: те-то трое холостыми на фронт ушли. А рассудить, так и нашего с Гришей супружества не было: на Первомай свадьбу сыграли, а в конце июня уже разлучились. Думали, ненадолго, самое большое, до зимы. Гриша смехом сказал мне: мол, пока я немца бью, ты б сподобилась да сына мне родила. Наказ я исполнила, а вот наказчика не дождалась... Она же, война-лиходейка, и свекровку мою раньше срока подломила. Шутка сказать—четверых слезами обмыть. Источила печаль ее сердце, ровно моля одежду. В день, как на Гришу похоронка пришла, свалилась и уж больше не поднялась. В три недели, как свечка до полочки, дотлела. Тут тебе, конечно, и взгляд, и глад, и

надсада сказались—всё, что за четыре года вынесено... И осталось от всего роду нашего: свекор, я да сынок мой Генашка. Когда сорочины свекрови отвели, свекор мне и говорит: свези меня, дочка, в приют. Какая тебе корысть от меня, сидня,— к той поре у него ноги стали отказывать. Да и кто, говорит, я тебе? Чужой дядька... Вот оно как: беды с улицы придут, а победков сами наделаем. Ох, и разобиделась же я на него! Говорю: «Так какая же тогда, тятя, я тебе дочка, коли говоришь: свези. А не совестно тебе?» Заплакал. Я—следом. Хороша эта утеха, да шибко-то баловаться ею некогда. Утерли слезы да и почали жить дальше: он при мне, я при нем. Так шестнадцать годков друг для дружки костылями и пробыли. Я раным-рано встану, еды, какой уж там Бог послал, наварю и— на работу колхозную. И не волнуюсь: мальчонка у меня при живой душе оставлен. С ногами-то у Кузьмы Тарасовича как-то больно чудно было: и болеть не болят, и не ходят. Так он как приноровился: когда меня дома нет (а я все ругалась, не во вред бы), нальет в чуни воды—ноги-то маленько и войдут в чувство. И перебирает потихоньку с палочкой по избе да по двору, занятье себе выскивает. Без дела часу прожить не мог. То он табуретку чинит, то ножницы точит или корзинку сплетет, а то новый ковшик из дерева вырезает или ложки...—все чем-нибудь угодить-пособить хотел. А, хочешь знать, главная его подсоба была то, что самосад курил. Войдешь в избу—табаком пахнет, значит, тут мужик обитает, значит, не сырый дом. И силы-то в тебе поднимаются. Вот хоть ты смейся, хоть что, а я тебе всю правду сказала...

Дождь, чуть притихнув, припускал с новой силой. Однако небо мало-помалу уже приподымалось, а гром откатывался на края его.

— Сам-то откуда будешь?—спросила бабушка.

— Из Кемерова.

— И давно там живешь?

— Да уж лет пятнадцать.

— И мой Геннадий до прошлого года в Кемеровой жил. На заводе инженером работал. Комаров Геннадий Григорьевич. Может, слышал? Хотя там Комаровых, по-ди-и...

— А почему Комаров-то, если колодец—хмелевский?

— И это просто, душа моя. Свекор мой, Кузьма Тарасович Хмелев, овдовел и женился в другой раз на вдовой же Анне Михайловне Комаровой, свекрови моей. У нее двое парнишек было, у Кузьмы Тарасовича—один. Одного местного нажили—стало четверо. Тогда и поставили дом там, где колодец теперь. Гриша мой Комаровым был. По метрике. Но метрика—что? Бумажка. А семья вся Хмелевыми звалась. Вот когда свекровка-то моя померла, люди, понятно, у кого языки позлее, и стали подзуживать с одной стороны свекру, с другой мне: мол, совсем чужие вы друг дружке. Потому и засобирался он в приют. А я ему говорю: «По рождению, тятя, все снохи всем свекрам чужие, а по обхождению ты мне роднее родного батюшки». И все, до самой его смерти разговору об этом у нас больше не заходило. А умер он, когда Генашка уже на втором курсе учился...

— А теперь ваш сын где живет?

— В прошлом годе в Тюмень перевели. На повышение. Теперь,—бабушка вздохнула,—редко ко мне навещается. Но, спасибо, снохи с внуками не забывают. У меня ведь,—лукаво прищурилась, засмеялась звонко,—сын один, а снох аж три!—Упреждая мой вопрос, подняла руку:—А уж это-то, душа моя, по нынешним временам и подавно просто: прохвост мой Генашка, хоть и на инженера выучился. Седина уже в волосах, а он все жен меняет. Да жены-то все какие ему попадаются! Хоть Валю возьми, хоть Надю—и умные, и работающие, и красивые. Про Ирину пока ничего не скажу. С личика, правда, ничего так, смазливенькая, но с лица ж воду не пить. А про остальное не знаю. Там уже, в Тюмени, поженились. Вес-

ной на два дня приезжали. Так разве же поймешь человека за два-то дня? Но с виду вроде спокойная и рассудительная. Спрашиваю у Геннадия: «Ну, сын, и на сколько ты с ней?..» Говорит: «Всё, мама, теперь окончательно, Иринка мне по душе». Так и первые, когда женился, по душе были, а вон двое парнишек безотцовщиной растут! Тебя, говорю, фашист этот, Гитлер, осиротил, а ты сам...— Бабушка нахмурила брови:— Твой-то детки при тебе живут?

— При мне.

— Вот и ладно, вот и хорошо... Это в июне Валя с Вадиком у меня гостили. Сама-то она, правда, только день побыла да и поехала—работа. А Вадик, тот три недели пожил. Двенадцать лет мальчонке, а такой уже смекалистый да расторопный. И картошку мне выполол, и крылечко починил, и дров мы с ним напилжили... Куда, говорю, с добром парень. Дай бы Бог так и дальше. А вот за дальше-то я уже и боюсь! Сейчас он еще ребенок, сейчас на него еще и материнской управы хватает—Валя, она строгая. Но все равно женщина ж. Что там ни говори, а птица крыльями сильна, а семья—мужчиной. Опять свекра своего Кузьму Тарасовича вспомню: и совсем старичок, и хворый, а мне подмогой был. Если бы не его наставления, так Генашка, может, не только бы многоженцем стал...

Дождь заметно поредел и, словно притомившись, сыпал уже без прежней прыти, как бы нехотя. Бабушка посмотрела на небо: сквозь лохмы рыхлых облаков кое-где уже проглядывались голубые проплешинки. Перевела взгляд на свой дом, призадумалась на какое-то время и вдруг, как бы вспомнив позабытое что-то, засияла радостно:

— Вчерась Сашенька—это меньшей, в четвертый класс пойдет—письмо мне прислал и хвалится: купил в магазине части и сам склеил ироплан; прочитал книжку про пионеров; на улице десять копеек нашел—в копилку бросил,

хочет новую клюшку купить к зиме; у соседей котенок потерялся было, а намедни нашелся... Про все чисто бабушке доложил. Уж такой лопотун—что в письмах, что наяву...

— Саша—это Надин?

— Нет, душа моя, Надин—Кирюшенька. Тот еще только «дай-дай» говорит. Может, теперь и еще чему научился—все-таки десять дней, как был тут...

— Так вы же говорили, что у вас двое внуков.

— Такого я тебе не сказывала.

— Да только что...

— Только что я тебе поведала: мол, у моего сынка двое мальчат безотцовщиной растут. А внуков у меня трое.

— Что-то не пойму я вас.

— Сейчас поймешь. Я тебе и это разобъясню. Тут тоже все проще простого. Значит, первая Геннадьева жена—Валя. Нажили они Вадика и Сашеньку. Разошлись. Женился Генашка на Наде. Прожили чуть больше года—разошлись, ребеночка родить не успели. Вскороости Надя вышла за Анатолия. Родился у них Кирюшенька. Так вот, Надя мне кто? Сноха? Сноха. А ребенок снохи кем свекровке доводится? Внуком. Кирюшенька—мой третий внук. Видишь, тут и понимать-то нечего,—довольная своим объяснением, бабушка сдержанно, почти беззвучно засмеялась.—Это Надя с Анатолием вскороости после женитьбы приехали ко мне в гости. Ну, Надя, как и раньше, все кличет меня: мама, мама. Анатолий слушал, слушал да и спрашивает: «А мне-то, Наталья Егоровна, как вас называть и кем я вам буду?» «А будь,—говорю ему,—хорошим мужем моей Наденьке, а тогда и мне станешь хорошим человеком. А называй меня, как тебе назовется». «Не,—говорит,—и добро, мать, договорились». Так с тех пор матерью и зовет. А чего, пусть, мне глянется... А человек-то он и вправду хороший. Живут душа в душу. Не-ет, за Надю я теперь спокойна. Теперь только и думы

мои что об Вале. Плохо у нее с фатерой. В однокомнатке с двумя ребятами—это что ж за житье? Никак большей не может добиться. Я ей говорю: и не надо, и не хлопочи. Собирайте манатки—да и сюда. Я же не вечная. Случись что со мной, дом-то кому отойдет? Геннадия он нужен, что ли? Ты, говорю, в городе медицинская сестра и здесь будешь ею же. Тем паче, сама ты деревенская, ко всему приспособленная. А по городу соскучишься, так на автобус и через час—там. А может, намекаю, и не соскучишься, вдруг человек какой приглянется тут, а ты ему. Вздохнула: «Кому я, мама, теперь нужна». Э-э-э, думаю, милая, еще как нужна будешь, как нужна... «Собирайся-ка,— говорю,— сходим в березнячок за вениками». И пошли мы... К слову, в июне это было, когда они с Вадиком приехали. Повела я ее не тут, не улицей, а во-он тем проулочком. Валя говорит: «Тут же, мама, дальше». А я ей: «Дальше—надеи больше, а где короче, там уж веники повыломаны». А сама Бога молю: хоть бы Николай Захаров дома был, а уж заделье-то в дом взойти всегда отыщу. А никакого заделья и не потребовалось: вот он, Николай, картошку тяпает. Подошли к городьбе, поздравствовались, остановились, как в деревне и заведено. Посудачили про то да про это, пошутили-посмеялись да и пошли мы дальше, а Николай дальше тяпать стал. Идем, я привздохнула да и без назойства Вале рассказываю: вот, мол, всем хорош человек—и видный из себя, и трезвый, и при должности: мастерскими колхозными заведует,— а семейная жизнь не задалась. Благоверная-то его крутила с кем ни поподя, позорила мужа, а прошлой зимой, когда Николай в отпуск уезжал, укатила с каким-то сезонником. И без следа. Старшая девочка в городе учится, а меньшая, Сонюшка, при Николае живет... Рассказала я Вале это, привздохнула еще разок, а тут мы и в рощицу вошли. Сломали веточек на три веничка и домой. Вот теперь можно и покороче пройти, по улице. Дома уже—будто так просто, но выказывая, что немножко и

неспроста,—говорю: «А человек он вполне самостоятельный, Николай-то Захаров». Ничего не ответила моя сношенька. Но лицом зарделась. А мне это уже и ладно, это уже ответ. На остановке, как ей в автобус садиться, я уж попрямее: «Езжай, дочка, и думай. И я тут думать буду». Махнула она рукой: «Да ну вас, мама...»—И засмеялась. И это мне тоже приглянулось, как засмеялась. Покатил ее автобус в город, а я прямехонько к Николаю. «Ну,—говорю,—ты чего-нибудь понял из моего давешнего посещения или растолковать тебе?» Мотнул головой: ну, мол, Егоровна,—и засмеялся точь-в-точь таким же смехом, как и Валентина на остановке... По секрету тебе скажу,—бабушка приглушила голос,—дело у меня, считай, слажено. В те три недели, что Вадик у меня гостил, свела я его и с Николаем, и с его Софьюшкой. И такая дружба меж имя началась, такой тут гвалт был... Я тебе про Сашенькино письмо рассказывала, да мы с тобой перебились. Так вот, дальше-то он пишет: Вадик, мол, мне все рассказал и мамке тоже рассказал про дядю Колю и про Соню; я тоже хочу с ними сдружиться; в следующее воскресенье, баба, мы приедем все: и мамка, и Вадик, и я. Вот и жду. Переживаю, конечно, крепко. Но ничего, ежели какая загвоздка выйдет, так я Поликарповну выдвину вперед, товарку свою лучшую, уж против нее-то Валентине не устоять будет—не старуха, а сущий генерал! Сейчас хотела зайти к ней, еще разок обо всем перемолвиться, да гроза помешала... Ох-хо-хо, сын, говорю, грешит, а мать искупляй вины его. А что, душа моя, делать остается. Хочется, чтобы счастьяца всем перепало...

Солнечный свет озарил землю. Лужи зеркально заблестели, радужно заискрилась листва деревьев, трава. Где-то близко истоиво-звонко пропел петух. В другом дворе слабосильно, с нежной корявостью ответил ему молодой петушок. Воздух наполнился запахами августовской спелости.

— Вот и распогодилось, слава тебе, восподи...—Ба

бушка поддела дужку ведра, однако тут же выпустила ее, распрямилась. Сунула руку в карман передника, достала туго налитой красный помидор.— Возьми-ка вот. Первенький, на корню дошел. Хотела Поликарповну одарить, да, говорю, не случилось зайти. Бери, бери! А ей в другой раз снесу—теперь-то они пойду-у-ут...

Подобрав подол юбки и осторожно ступая босыми ногами по раскисшей глине, она шла к своему дому. Вдруг, будто хоронившиеся до этой поры где-то за углом, настигли ее быстрые редкие нити дождя, озорно ударили по спине, плечам, голове. Бабушка вздрогнула, остановилась, обернулась ко мне, возвестила с детским восторгом:

— Слепой дождь! Слепой!—засмеялась и, вся праздничная, в праздничном же солнечном блеске, пошагала дальше...

1985 г.

ЕДРИШКИНА КАЧЕЛЬ

Генка Никитин поставил свой «КамАЗ» в бокс и прямым ходом отправился к дяде Косте Пономареву — отдавать долг. Шел и чувствовал маленькую неловкость. Вчера Генка ехал с грузом из города. У него кончились папиросы. Тормознул в Луговой возле магазина. Вошел и сразу же увидел на витрине мясорубку. «Наконец-то!» — обрадовался. Галина, жена, все наказывает: ездись, мол, везде, так смотри мясорубку. Генка добросовестно смотрел и в городе, и в деревнях — не попадались. И вот накнулся-таки. «Сколько стоит?» — спросил, и пальцы скользнули в нагрудный карман пиджака. «Четыре семьдесят». А у Генки в наличии оказалось только два рубля. Ну надо же! «Еще много их у вас?» — «Последняя». Чертыхнулся про себя, вышел, забыв про папиросы, из магазина. Что делать?.. Глядь, катит на своем красном «Запорожце» с буквой «Р» на лобовом стекле дядя Костя. Генка кинулся наперерез, нетерпеливо и яростно махнул рукой. Машина резко остановилась.

— Дядь Костя, выручай!..

— Ах, едришкина качель! — брови дяди Кости сурово вздернулись, глаза же смеялись. — Сколько их?

— Кого? — Генкины брови тоже подпрыгнули — от удивления.

— Хулиганов, что на тебя напали. Щас мы им накостыляем...

— Каких хулиганов? — от нетерпения Генка заперебирал ногами так, будто была зима, а он босой выскочил из тепла на скрипучий снег. — Дай трояк. На мясорубку не хватает...

Видок у Генки, наверное, был хлопотливо-переполошенный, и дядя Костя решил пошутить, а Генка, получилось, оборвал его. От этого Никитин и испытывал сейчас неловкость. Если бы у него с кем другим так вышло, в

следующую же минуту и думать об этом перестал бы, а тут... Дядя Костя потому что...

Константин Владимирович Пономарев, а по-уличному просто дядя Костя, был душой-человеком и большим весельчаком и балагуром. За что его на селе уважали крепко. И тихонечко, заглазно—правда, это больше сердобольные женщины и ребятя, — жалели: у дяди Кости не было по колено одной ноги—оставил на фронте. Работал он бухгалтером в сельпо. Генка Никитин—когда еще под стол пешком ходил—каждое утро видел, как дядя Костя, сильно заваливаясь на левый бок и опираясь на точеную палку с черным резиновым наконечником, шел на работу. Протез скрипел, и что-то там в нем пощелкивало, деревянный тротуар под тяжестью крупного плотного тела тоже поскрипывал. Круглое мясистое лицо дяди Кости было разгоряченно-красным и мученическим. Однако, заметив в растворенном окошке Генку, он приостанавливался, в глазах вспыхивали лукавые огоньки.

— Что, Генашка, ешь?—доставал платок.

— Олады.

— Поди, со сметаной?

— Ага.

— Отстаешь от жизни. Сейчас, парень, все уже в горчищу макают.

— Не-е-ет,—смущался Генка.

— Да, да. Я тебе говорю. Ты попробуй-ка,—советовал дядя Костя и, утерев платком лицо, шел дальше.

Против строящейся аптеки опять останавливался:

— Мужики, едришкина качель, солнце уже вон где, а вы все курите.

— Сейчас пилы наши запоют, топоры запляшут,—отвечали плотники.

— Да-а, никакой, понимаешь, дисциплины: пилы да топоры работать должны, а они у вас художественной самодельностью занимаются!

2 И. Коробков
50776

Муниципальное учреждение культуры
"МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА"

Библиотека-филиал №
Кемеровская область, Ижморский район

Сейчас дядя Костя ездит на «Запорожце». А до него—на «трещотке»—так он сам называл мотоколяску. Когда получил ее, жена дяди Кости, тетя Паша—женщина неумно крикливая, грубоватая,—стала всем жаловаться, что мужа ее саданул бес под ребро: каждый божий день после работы, а в выходные с самого утра дядя Костя правил со двора.

— Куды? Куды тебя опять нечистый дух понес?!—кричала тетя Паша.

— С мужиками, Павла, охота поматериться.

— Ой, тошнехонько мне,—ударяла себя по крутым бедрам тетя Паша,—да из тебя матерщинник—как из дуги корыто, а туда же, в люди...

И правда, самым крутым ругательством дяди Кости было «едришкина качель». А ехал он на своей трещотке к косарям, или к тем же плотникам на строящийся коровник, или еще в какое-нибудь людное место. При виде его народ, не прекращая работы, в предвкушении веселья и смеха, перемигивался и оживлялся. А дядя Костя, «суровый» и «неприступный», вылезал из трещотки, оценивая количество и качество, принимался «распекать» звеньевому, давал ему «мудрые» советы, потом просил поучиться, как надо дело ладить,—брал грабли и, прыгая на одной ноге, неуклюже, но старательно подскребал сенцо за копнильщиком. При этом сыпал шутками-прибаутками так азартно и так часто, что другим острякам не было никакой возможности вставить хотя бы словечко. Всем оставалось похохотывать да делать свое дело. Фактическая власть тоже сама собой переходила в руки дяди Кости. Он по своему разумению расставлял людей, давал указания стогоправу и метчикам, выносил благодарности и порицания. И он же, высоко запрокинув голову и подражая петуху, возвещал:

— Пе-ре-ку-ку-ур!..

Генка и другие копновозы-подростки с удовольствием с лошадей и первыми усаживались под старыми деревьями

слушать дядю Костю хоть до самой ночи. Во время перекура он рассказывал всякие забавные случаи и истории, в которых не понять, где конец правды, где начало выдумки; непонятно также было, сам он их сочиняет или где слышал, тем более, что истории всякий раз он рассказывал новые. Когда дядя Костя вспоминал войну, ребяташки ожидали, что сейчас они узнают о каком-нибудь его подвиге, но почему-то о себе дядя Костя никогда ничего не рассказывал.

Не очень-то щедро говорил он о себе и с трибуны в День Победы, и в школе перед учениками. В таких случаях, серьезный и по-настоящему строгий, с позванивающими боевыми наградами на груди, он мало походил на привычного всем дядю Костю, а был каким-то чужим и далеким Константином Владимировичем Пономаревым. От дяди Кости оставалось только мясистое лицо, которое краснело и потело больше обычного, словно бы он прошел на протезе всё село из конца в конец и обратно. То и дело утирая виски и лоб платком, он больше рассказывал о своих фронтовых товарищах, которых, правда, не знал никто, кроме самого дяди Кости.

Однажды, когда он выступал у них в седьмом классе, Генка Никитин спросил:

— А за что вы получили орден Красной Звезды?

— Видишь ли, Геннадий...

Он так и обратился по-взрослому—Геннадий. И стал рассказывать о том, как их разведвзвод перешел линию фронта, добыл «языка». А Вася Щукин (Генке запомнилось это имя), до невозможности отчаянный парень, завел немецкий грузовик, и разведчики с добычей помчались на нем к своим. Дядя Костя в подробностях рассказывал, как ловко вел Вася чужую машину, как проскочил линию фронта и все уже стали считать, что операция удалась...

— И вдруг...— дядя Костя остановился на секунду. Все затаили дыхание: сейчас начнется самое главное и самое интересное.— Значит, справа по ходу замечаю: ед-

ришкина качель...—сказав последние слова, дядя Костя запнулся, смутился, покосился на учительницу, совсем еще молоденькую. Учительница подбодрила:

— Ничего, ничего...

Однако дядя Костя смутился еще больше, досадливо крякнул, утер платком виски.

— В общем, ребята, вышла одна заварушка. Но задание мы все-таки выполнили...

Генка увидел еще с улицы: дядя Костя, сидя верхом на скамейке, елозит напильником тяпку. Кулья лежит на черенке, придавливает его, отстегнутый протез прислонен к штакетнику.

— Здравствуй, дядь Костя.

— Здоров, здоров, Генаша. Откуда путь держишь?

— С работы. Должок вот тебе принес,—Генка вытащил из-под ремешка часов сложенную вчетверо трехрублевку.— Спасибо, выручил.— А у самого мысль: таит обиду за вчерашнее непочтение или не таит?

Дядя Костя слегка откинулся назад, поверх очков уставился на бумажку, потом с укором посмотрел на Генку:

— Ты что ж, едришкина качель, только долг отдать? А погостить не желаешь, что ли?

— Так ты ж...—Генка кивнул на тяпку и облегченно подумал: не таит...

— Хороший разговор делу помощник. Новость-то уже слышал?

— Какую?

— Так Анна-то Водовозова... Да ты не стой, я тебе не начальник, садись вон на крылечко-то. Анну Водовозову знаешь?

Генка повел плечом:

— Нет.

— Да ты что?—удивился дядя Костя. Он часто рассказывал об односельчанах, которых почему-то никто,

кроме него одного, не знал.— Ты где живешь-то?.. Ну ладно, это дела не меняет. Значит, продала Анна вчера свою коровенку одному человеку. А человек при расчете ей лишнюю двадцатьпятку передал—просчитался. Хватился уже дома. Пошел назад к Водовозихе: мол, так и так, оплошал я малость. А она: «Ну так и что из того?»— «Так возвернула бы...»—«Ни в коем разе,—говорит Анна.— Помру, а не возверну». Как сказала, так и сделала: сегодня ночью скончалась. Вчера вскрытие сделали, диагноз поставили: жадность, все внутренности ею поражены... А то, значит, еще случай...

Но в это время с улицы послышалось звонкое:

— Здрасьте, дядя Костя!—соседский мальчишка браво вышагивал по тротуару. Через плечо перекинута авоська с двумя буханками хлеба, которые били ему по спине.

— Привет, Антошка—нос картошкой,—отозвался дядя Костя.— А что такое тяжелое несешь-то?

— Хлеб.

— Какой хлеб? Она ж тебе кирпичей дала, посмотри хорошенько.

— Хлеб,—улыбается Антошка,— не обманывайте.

— Кирпичи, говорю тебе!

— Нет,—стоит на своем мальчик с пальчик, однако сомнение в нем уже зародилось.

— Да, да! Ты, говорю, посмотри,— дядя Костя до того серьезен, что Антошка в нерешительности останавливается, снимает с плеча авоську, осматривает буханки.

— Ну? Кирпичи же?..

— Да хлеб!—уверяет мальчик больше самого себя, чем дядю Костю, и, сконфуженно улыбаясь, шагает дальше.

Довольный дядя Костя проводил глазами Антошку до самого его дома, обернулся к Генке:

— Мой лучший друг.— И сообщил:—Сегодня наш председатель сельпо приказ подписал. Ох, шибки-ий. Почти дюжина параграфов, и все касательно Вальки Кулемзиной. Благодарность с занесением в трудовую книжку—

раз; Почетную грамоту—два; сто рублей, месячный оклад, премии—три... Само собой, профсоюз подключается—ковер вырешили, греческий, два на полтора. Комсомол тоже что-то там готовит. Все будет завтра в торжественной обстановке, с оркестром, оглашаться и вручаться. Да, магазин по такому поводу будет закрыт на весь день... После торжественного оглашения и вручения, сам понимаешь,—стол. Для избранных—тоже, поди, понимаешь. Вот кумекаю, по какой статье проводить. Стол-то...

— Так у нее круглая дата или что?

— Двадцать три года. Какая тебе круглая.

— Тогда в честь чего?

— Честь, Генаша, по заслугам. Разве не знаешь? Сегодня поутру приходит в магазин Анна Водовозова. Знаком с такой?

— Знаком уже. Только ведь она еще ночью померла...

— А ведь и верно, едришкина качель. Анны-то уже нет. Тогда... значит, Стукалиха. Эта жива еще. Приходит бабка Стукалиха и говорит: «Взвесь-ка мне, доченька, кило сахара». Валентина взвесила. «Спасибо те, милая»,— это опять бабка. А Валентина вдруг, чего никогда с ней такого не бывало, говорит бабке в ответ: «Пожалуйста, бабуся. Приходите еще». Смекаешь?.. Валентинину культуру обращения ты на себе каждый день испытываешь—знаешь. И вдруг—«пожалуйста, бабуся». Само собой, новость эта полетела по селу. На второй минуте была уже у нас, в сельпо. На пятой председатель приказ подписал. А ты как думал? Честно заслужила—получи... Ох-х'о-хо, едришкина качель,—дядя Костя убрал с черенка культу, стал через штанину растирать ее и легонько пощипывать.—С самого утра мой барометр говорит: «Готовь, товарищ Пономарев, к завтрашнему дню тляпки». Так крутит, что как бы, Генаша, заодно с дождичком и град не просыпался бы...

— Дядь Костя?—нерешительно позвал Генка.

— Ну?

— Это...— момент был вроде подходящий, но Генка сомневался, прилично ли о таком спрашивать.

— Говори, что?

— Ну, в общем, как ты ее ... лишился-то?—кивнул на культу.

— А очень, Генаша, просто.— Дядя Костя, показалось Генке, давно уже ждал этого вопроса—с такой готовностью он отозвался на него.— Озеро Балатон в Венгрии слышал, конечно? Так вот, в тех местах в марте сорок пятого немец прорвал фронт и попер на нас танками. А если тебе поконкретнее, то, значит, дело было так. Танки прут, а у наших пушкарей всё—стрелять нечем. Орут: «Снаряды давай!..» А метрах, может, в трехстах, среди голого, как лысина моего дедушки Гаврилы, поля, «зисок» наш с этими самыми снарядами буксует. Мы, разведзвод,—случайно тут оказались,—видим такое дело, облепили кузов, толкаем. Изю всей силушки, а толку—никакого. Колеса хоть и «обуты» в цепи, но грязь по самые ступицы. Камешков бы подсыпать или там бревешко какое подложить, и с нашей помощью вмиг бы выбрался «зисок»—под передними-то твердо. Но ничего поблизости—голое, говорю, поле. И вот моя левая,—дядя Костя искоса посмотрел на Генку, лукаво подмигнул,—оценила трудность нашего момента и стала потихоньку сосклизывать, норовя угодить прямо под колесо. Я ее затею тогда еще не понял, одернул: что за шутки, едришкина качель! Поудобнее переступил, поудобнее же уперся плечом в кузов, из кожи лезу—толкаю. А она, левая-то, опять норовит сосклизнуть. Я опять переступил: мол, если думаешь, войне скоро конец, то уже и не сгодишься больше? В это время шофер дает газу до отказа, а ребята—«разом взяли!» И тут она, окаянная, воспользовалась. Да так прытко, что, думал, всего меня туда утащит. Точно, утащила бы: да я хитрый—хлоп на пузо и обеими пятернями за грязь и ухватился. Тем и спасся... А чего ты ухмыляешься? Говорят: утопающий за соломинку хватается. Соло-

минки не оказалось, так я за грязь. Когда поднял голову, машина зад, как резвый телок, подбрасывает, из-под колес комья земли летят—мчит «зисок» к батареям. Это, думаю, хорошо, а вот сапога, едришкина качель, лишился. Эх, Генаша, сапоги у меня были!.. совсем старые. Правда, старшина обещал: мол, в ближайшее время войду в твое положение. И вдруг на тебе. Но при выписке из госпиталя дали один. Вполне, скажу тебе, приличный. В нем по родной деревне и форсил. И даже Павлину мою завлек. Но это уже другой разговор... Ою бы, Генаша, все получше у меня обошлось, да, как говорят, если уж не повезет, то не повезет—гангрена. По самое коленко и отняли. Вот таким, значит, образом и произошло... Еще вопросы будут?

Был у Генки и другой вопрос. Давнишний, как и первый.

— Дядь Костя, а вот откуда у тебя берутся разные шутки, юмор?..

— А леший его знает. Само откуда-то. Но ты б иначе спросил: мол, зачем тебе это? А я б тебе ответил: для баланса. Чтоб дебет с кредитом уравнять,—дядя Костя положил одну ладонь на здоровую ногу, другую—на культю.—Вот это,—он указал глазами на протез, костыль, на «Запорожец» в гараже,—это все так—подпорки, а не опора. А вот шутка—это вещь стоящая. С ней у меня полный баланс в жизни, едришкина качель...

Когда распрощались за руку и Генка пошел со двора, дядя Костя окликнул его:

— Генаш?

— А!—остановился Генка.

— Дак ты что, только погостить приходил или еще и по делу какому?

— Е-елки-моталки!—Генка вернулся, протянул дяде Косте трехрублевку. И они оба рассмеялись...

1985 г.

С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ

Утром Надежда Калязина, белобрысая юркая бабенка, шла по улице села в сторону магазина, громко бранилась:

— Ироды проклятушие! Нет на вас ни мора, ни удавки! И что за времечко пошло, что за нравость?! Ни уёму, ни проему не знаете, вихорь вас подыми, родимец вас расколи, гром вас убей!..

— Кого благословляешь-то?—спрашивали из дворов.

— Чтоб им на том свете без пристани приставать! Лиходеи!—Надежда останавливалась.—Дак что мне утвори-ли-то. Значит, сегодня в полтора часа ночи...—И возмущенно рассказывала о случившемся.

— Ах ты ж беда!—сочувствовали во дворах.—Совсем уже народ потерял и стыд, и совесть.

— И все из-за нее, проклятущей. Когда только они ее нахлещутся! Брюхо бы им коробом!..

Калязина шла дальше. Прямые с проседью волосы выбивались из-под косынки. Надежда досадливо двумя пальцами заправляла их обратно.

— Мало она вас губит. Мало по ее причине бьетесь-калечитесь. Чтоб вам ни дна ни покрывки!

— Кому накликаешь?—спрашивали встречные.

— А мало ли их, алкоголиков, расплодилось,—останавливалась, рассказывала:—Это сегодня в полтора часа ночи в кровати лежу...

Пока шла до магазина, раз пять или шесть рассказала. Народ возмущался прохвостами, искренне сострадал Надежде. А бабка Маня Мухина—уже из магазина шла—так та прониклась бедой односельчанки ровно своей. Заохала, запричитала и, несмотря на то, что в одной руке авоська с хлебом, в другой—сумка с солью, развернулась да и засемила следом за скорой на ногу Надеждой,

совсем позабыв про хворь,— вот уже три дня у нее чего-то тянуло в пояснице.

— Чтоб они, окаянные, в щепу иссохли! Чтоб их на осину ладило!—переступила Надежда порог магазина, и все лица сразу же—на то и расчет был—оборотились к ней.

— Про кого ты это так-то?

— Про тех, кто глотку свою никак залить не может. Сколько им уже говорено, сколько бумаги поисписано...

— Про свою Калязина, что ли?

— Про какого свою! Мой в тайге. Шишкарить умотался и Сережку взял...— Между тем хвост очереди мало-помалу загибался вокруг Надежды.— Сегодня в полтора часа ночи лежу—сон не идет. Как они там, думаю, в тайге-то. Все время дождит, ночи холодные—не простудились бы. А то, не дай Бог, медведь... Лежу, переживаю за них. Слышу: машина в проулке загудела. Ну, думаю, это Пашка Милютин из города к старикам прикатил, он часто этак вот, среди ночи... Нет, не легковушка, большая какая-то гудит и сюда, в нашу сторону, свернула; фары по окнам мне полоснули. И вдруг—о Боже!—трах, бах, дом колыхнулся, дерево затрещало. Ну, думаю, всё, это смертушка моя пришла! Не помню, как на ногах очутилась, штору отбросила—мати ж моя, мати!—электрический столб на боку, какой-то самосвал в него, как бык лбом, уперся, провода шкворчат, а с них дождь искряной сыплется. А потом ка-ак пыхнет пламень—и темень сделалась. И глухота такая, ровно конец всему живому настал...

На сколько-то коротких мгновений вокруг Надежды тоже установилась немая тишина, которую всколыхнули восклицания:

— Что делается-то, что делается!

— Антихристы!

— А недуг бы вас побил!

— Я ни жива ни мертва сделалась,— продолжала Надежда,— застыла вся, как статуя, только волосы на голо-

ве дыбом дыбятся. Дверка рыпнула, вылез один из кабины, присвистнул, говорит: «Кранты!..»—заматерился. Слышу: пьянящий. Из другой дверки еще один вылез, тоже—вдрабадан, не поняла, что проварнякал. Стали чего-то там ковыряться...

— Ты б вышла да дрыном одного и другого...

— Ага, выйдешь, а назад-то и не войдешь. Да и, говорю, отнялось у меня все—и руки, и ноги, и язык. Был бы сам дома, так... Чего-то там поделали, поделали, сели, завели и укатили. Даже «извиняй» не сказали...

— Скажут оне...

— Вот она что, водка-то творит...

— Когда уже развиднелось, вышла за калитку. Столб похиленный, но вроде цел. Один провод на земле, другой еле держится. Перейти улицу, к Бикетовым, боюсь: наступлю на ток—и готова. Полезла огородами, вымокла по пояс в росе. Сам Бикетов взял лестницу, кусачки, откусил провода повыше. И стал дом мертвым: света нет, плитку не включишь, холодильник растаял,—Надежда выговорила свое возмущение и гнев на людях, «спустила пар», и теперь речь ее была тихой, почти кручинной.

— Ладить надо.

— Кто будет ладить-то? Самого, говорю, нет.

— К Володьке-электрику иди.

— Ходила уж. Никак, говорит, не могу. Сушилку пускает—все сроки горят, так и днюет и ночует там.

— Самих, паскудников, найти да и заставить.

— Ага, найдешь их теперь. Лови ветра в поле.

— Куда они хоть поехали?

— Сюда, к шоссейке. А уж куда дальше, не знаю.

— И ты ни номера, ничего не разглядела?

— Какой номер, когда будто варом обдатая была. Утром, когда вышла, вижу: возле столба зеркало разбитое валяется, железка какая-то. А сейчас вот в магазин пошла, ножик подобрала.—Надежда вынула из кармана платяа небольшой складень с зеленой ручкой.

Все посмотрели на него без особого интереса. Однако бабка Маня Мухина подалась вперед, брови ее подвинулись к переносью.

— Ну-ка, ну-ка?—она хотела взять складень с Надеждиной ладони правой рукой, но в ней напомнила о себе сумка с солью, дернула левую—в той авоська с хлебом.— Ну-ка,— взволновалась,— открой его.

Надежда исполнила поведение—вытащила пальцами лезвие. Самый кончик его был отломан.

Бабка Маня выпрямилась, построжала. Произнесла тоном ворожейки:

— Падает, что Женьке Треухову, дева, твой свет ладить. Это его складешок.—И, торопясь упредить всякие сомнения, стала рассказывать:—Позавчёрась это вот так же нагруженная иду из магазина. Возле клуба на лавочке сидят Женька Треухов с Семкой Шиповым—похмеляются. Я поравнялась с ими, Семка говорит: мол, видишь, баб Мань, мы одной бараниной закусьваем,—и провел рукавом пиджака по губам, чтоб, значит, поняла я, какая у них баранина,—дай-ка нам хлеба. Мне, бабы, этих вот пьяниц, что по закоулкам, жалко как не знаю кого—на пустой желудок, окаянные, хлещут. Вынула буханку: берите. Женька достал складешок, вот этот самый, и отрезал горбушку... Его, его ножик, не сумлевайтесь, зеленый, носок обломан. Я еще тогда вздохнула про себя, подумала: и жизнь твоя с ущербом, и ножик с ущербом. Так его, Женьку-то, жалко стало. А он, нечистая сила, ишь чего утворил.

Естественно, все подивились бабки Маниной смекалости, и разговор—беспорядочный, разнбойный—пошел о Женьке Треухове.

— Совсем запивается, всякий образ потерял...

— Ты, Надежда, с ним не церемонься. Скажи: делай свет, а не то в суд подам...

— А ведь был и работник безотказный, и человек ду-

шевный, и семьянин хороший—словом, сто сот стоил. А теперь кто за него что даст?..

— Это с Семкой Шиповым они своротили столб-от. За Семкой он, как колесо за лошадыю.

— И как это Раиса терпит?

— А жалко, говорит...

— Веди себя с ним, Надея, подтверже...

— Говорит: мол, в «Восход» поеду, там шофера нужны. Так шофера же, говорю, а не пьяницы.

— А тут чего? Али выперли?

— Дак с неделю уж, наверно, как без машины...

Все воззрились на бабку Маню Мухину: а, мол, Женька ли напакостил, если он теперь не на машине?

— Но складешок-то его,—возразила бабка.— А машина—что. На чужую сел да и подул...

Тут входная дверь отворилась, и кружок с Надеждой в середке мгновенно умолк, притаился. А сама Надежда оробела, сжала в ладони складень: в магазин вошел Женька Треухов—высокий, замызганный, с помятым лицом. Никого не замечая, глянул на витрину. Там стояла только «медвежья кровь». Скривился, дрожащей рукой потер небритую смуглую щеку.

— Лида, одну белую в долг найди,—попросил негромко и вкрадчиво.— Завтра отдам.

Продавщица Лида еще та—глаз да ухо! Отпуская товар, все время прислушивалась, о чем судачат бабы в конце очереди, и на просьбу Женьки с деланным сожалением развела руками: мол, рада бы, да нету.

Доверчивый, бесхитростный Треухов подумал: значит, в самом деле нету. Ему Лида не отказала бы. Тем более что вчера он разгрузил ей машину на сахаром.

— Тогда хоть эту..— Женька кивнул на витрину.

Лида ничего не успела сказать. Ее опередила баба Маня:

— Тебе б только эту. А потом и туё. Хоть помнишь ли, что вчера-то натворил?

— А что я натворил?—Женька взглянул на бабу Маню, потом мельком на Надежду Калязину и смутился. Дошла баба Маня взяла это в толк, и голос ее зазвучал увереннее:

— А то, голуба душа. Преступленья содеял: электричество Надежде оборвал. Саму вон чуть током не пришибло.

— Я, что ли...

— А кто?! Складешок свой там обронил. А ну, Надежда, покажи-ка ему.

— Да чего уж...—Калязина оробела еще больше.

— Нет, ты ему покажи, покажи, а то, вишь ли, не он...

— Да я только пассажиром был,—растерянно объяснил Женька бабе Мане.

— А кто рулил?—бабка Маня теперь повела дознание со всей напористостью.

— Один там... городской. Я его толком и не знаю.

— Вот и делай сам женщине свет. На мужика Надеждиного не рассчитывай: он в отлучке.

Женька опустил глаза в пол, поразмыслил о чем-то, скосил взгляд на «медвежью кровь» и вздохнул. Вздох его был такой глубоко нутряной и тяжкий, что все тем же мигом представили, как муторно сейчас Женьке после вчерашнего перепоя, какая едкая тоска саднит его душу. Вздох этот отозвался в каждом сердце болью, жалостью и... состраданием, пожалуй, не меньшим, чем к Надежде Калязиной.

Бабка Маня тихонько подмигнула Надежде: мол, внимай толком, что стану говорить. И сказала увещатель-но Треухову:

— Слышь, Евгений. Ты ей, говорю, свет наладь, а она тебя отблагодарит.—Теперь бабка Маня подмигнула с намеком Женьке.—А, Надежда?—повернулась к той.

Калязина дорогой выкричалась, здесь, в магазине, выговаривалась и теперь, оказавшись лицом к лицу со своим обидчиком, испытывала такую стыдливую неловкость,

будто не Женька Треухов виноват перед ней, а она перед ним. Надежда, краснея, сбивчиво проговорила:

— За доброе-то дело... конечно... чего ж...

Женька благодарно и чуть сконфуженно улыбнулся.

— Вот и добро, вот и сговорились,— облегченно, словно грех с души сняла, вздохнула бабка Маня Мухина...

Уже к вечеру общими усилиями столб поправили, провода натянули. В доме ярко—Надежде показалось даже, ярче обычного—вспыхнул свет. Хозяйка была радешенька.

— Слава те, Господи!

— И немножко мне,—засмеялся Женька. Пока дело ладили, то да се, полторы поллитровки он оприходовал и теперь был веселым, балагуристым.

— Ой, Евгений, да про Бога-то я просто так. Слава вся твоя, вся! Когда б не ты, куковать бы мне впотьмах...

Они сели за стол, чтоб теперь со спокойной совестью, без суеты поужинать. Надежда выставила лучшую, какая была, еду. Однако Женька выпивал, почти ни к чему не притрагиваясь.

— Вот ведь какая петрушка получается, Надежда Васильевна,—говорил он уже заплетающимся языком, елозя локтями по клеенке.— Я тебе так скажу: из совхоза меня того... за это самое... Директор наш ... нашего совхоза, Петр Федорович Караваев, очень умный, очень добрый, но—оч-чень он добрый человек... Ты меня понимаешь?.. Нет, этого ты еще не понимаешь. Я сам только недавно понял: оч-чень он добрый. И я ему хочу доказать. Поеду в «Восход». Чтоб люди чужие там... Поработаю два года и опять сюда. Человеком приеду... Ты меня понимаешь?..

Надежда не совсем понимала Женькины рассуждения, но кивала и тихонько смахивала казанком пальца с ресниц слезу. Она тоже выпила рюмочку—половинку за свет, половинку за компанию,—и душа ее совсем размягчилась. Слушая Женьку, думала: ведь какой хороший человек,

всем хороший, да одна беда—шибко выпивает. И из сердечного уважения к нему говорила:

— Ты подливай себе, Евгений. На меня не смотри, подливай...

Ушел Треухов, когда уже совсем стемнело. Проводив его за калитку, Надежда еще раз сказала ему «спасибо», постояла, посмотрела вслед, пока он не потерялся из виду, и вернулась в дом с легким сердцем...

1985 г.

ЦОК, ЦОК...

Стою в очереди в сельском магазине. За пачкой чая да батонном. Впереди меня всего человек шесть, но начинаю сомневаться, что когда-нибудь все-таки продвинусь к заветному промежутку меж витрин, где стоят зеленые весы, а за ними—продавщица Роза.

Роза—женщина видная, с пышной грудью, с яркими черными глазами и красивым прямым носом. Губы плотно сжаты, и это придает ей немного спесивый вид. Работает она еще по старинке: насыпает, режет, наливает, взвешивает, заворачивает, гоняет костяшки счетов, принимает деньги, дает сдачу...

В очереди в основном бабушки—тугоухие, бестолковые, недоверчивые.

— Али брать сахар, али нет...

Роза с легким пренебрежением и ленивой язвительностью замечает:

— Сколько простояла, не могла решить.

— Тады сыпь кило... А по сколь он?

— По сколь и вчера.

— Печатку мыла не забудь... Хлеб, поди, пересоленный, как завчера...

— Я что, пробую его?

— Тады две буханки...

— Рубль пятьдесят три,— объявляет Роза досадливо: ее, мол, метанье по магазину да потраченные на покупательницу нервы стоят дороже этой мизерной выручки!

Бабушка непослушными узловатыми пальцами принимается разворачивать платочек. Роза томливо ждет. Взглядом и вздохом она призывает к этому нескончаемому ожиданию и нетерпеливых, переминающихся с ноги на ногу мужиков, что плотно сгрудились за левым плечом бабушки и сопят ей в самое ухо. От этого сопенья бабуш-

ка чувствует себя так, будто без зазрения совести позволила себе что-то непозволительное, она испытывает неловкость и потому суетится—дергает то одну бумажку, то другую, третью, то опять первую...

— О хосподи!—выходит из себя продавщица.—Давай любую,—и сама выдергивает первую попавшуюся бумажку...

Бабушка, конфузливо улыбаясь, сгребает в охапку свои покупки и, пригнувшись под нависшими над ней локтями, пятится назад. В тот же миг ее место заступает левая клиентура, превратившаяся в один тяжелый монолит. К Розе протянулись сразу несколько рук с деньгами. Слышатся разнотипные голоса:

— Парочку белых, дорогуша...

— Три без сдачи кинь...

— Цветик Роза, я с мороза—тороплюсь на сенокос!..

Тонкие поджатые губы Розы трогает улыбка, лицо одушевляется, а сама она делается легкой, подвижной. Одна рука принимает деньги, другая ловко, даже как-то грациозно выставляет бутылки. Донышки их, касаясь прилавка, издают звук, живо напоминающий бодрый и четкий стук каблучков под стройными ножками: цок, цок...

Словно из почтения к этому звуку, очередь притихает.

Цок, цок...

Цок, цок, цок...

Цок...

Проходят считанные секунды, и место возле весов свободно. Его занимает очередная бабушка. Совсем древняя, тщедушная. Роза скучнеет лицом, плотнее поджимает губы и чуть склоняет голову набок—приготовилась слушать покупательницу. Та кивает на банки и коробки за спиной продавщицы, вхолостую шамкает беззубым ртом—силится вспомнить вдруг вылетевшее из головы название товара. Вспомнила наконец:

— Уж ты мне...

— Розочка, пятьсот граммов радости дай,—раздается

тут бас над ухом покупательницы. И она, как и предыдущая бабушка, испытывает неловкость, смолкает, бросает на продавщицу смущенно-винноватый взгляд, суетливо подается вправо и упирается боком в грудь очередницы, стоящей за ней. Та тоже сдает назад, и волна покорной услужливости, колыхнув и меня, катится к хвосту изогнувшейся червяком очереди. Все опять замирают, а лицо Розы светлеет.

Цок...

— Еще две выставляй,— это уже другой голос, скучно-сиплый.

Цок, цок...

Пока всё. Бабушка снова возле весов.

— Уж ты мне, Розонька, баночку кильки...

— Еще что?

— Беленькую...— нет, это голос не бабушки, а такого же тщедушного, как и она, дедушки.

От весов к хвосту очереди опять прокатывается волна услужливости.

Цок...

Они идут и идут. Молодые и в годах, здоровяки и плюгавые, при галстуках и в телогрейках, пропахших соляровкой, балагуристые и мрачные, уже принявшие дозу «радости» и только еще предвкушающие ее,— но все одинаково нетерпеливо протягивающие руки к Розе:

— Три покрепче...

— Одну...

— Говорю, год не пей, два не пей, а с аванса—выпей...

Очередь усилием воли сламывает, сминает свой напор и, чуть ли не подымаясь на дыбы, почтительно откатывается назад и вновь замирает.

Роза в духе, Роза в действии.

Цок, цок, цок...

Цок...

Цок, цок...

Все-таки до чего же это напоминает стук каблучков под изящными и легкими ножками!

Всякий раз, когда цокот смолкает, в магазине воцаряется безмолвие—наступает мгновенье полной, настороженной и тревожной тишины, будто требующей какого-то слова.

И это слово вдруг слышится:

— Ага, шире, мои родные, ширше дорогу своему горюшку!..

Все оборачиваются на голос. Третьей с краю стоит высокая худая патлатая женщина с изможденным, серым лицом. Она смотрит перед собой и мерно кивает. Длинноногая, она похожа на дятла, долбящего дерево, а в ее впалых глазах тлеет полоумный, яркий, но холодный огонь.

Цок, цок...

Цок, цок, цок...

— Ага, шире, говорю, ширше...

По вздохам очередниц я понимаю, что в сердце этой женщины уже вошло горюшко—безмерное, неизбывное. Не выплакать ей его и не выкричать. Оно само кончится, но—вместе с нею...

1985 г.

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Сегодня, придя с работы, Анна Репейникова переоделась и отправилась в клуб, где она не бывала с той самой поры, как в доме появился телевизор. Забыла уже, как и дверь открывается. Да что там забыла—не знает. Клуб-то новый выстроили—большой, кирпичный.

Звала и Евгения, мужа. Махнул рукой:

— Я ему сродственник, что ли?—и подался в огород поливать капусту.

Оно, конечно, Евгений не здешний уроженец, ему что. Анна же бросила все дела, нарядилась и пошла. Чтобы своими глазами увидеть: все-таки он это или не он?..

Дело в том, что в старинное сибирское село Покровское приехал киноактер Александр Ширяев. Тот самый, который всем нам запомнился по главным ролям в кино и телефильмах «Через горы и долины...», «Шоферы», «Сельские были», «Василий Прокопьевич»... Впервые Анна увидела Ширяева в «Шоферах». Глянула на таксиста Воронкова и сказала про себя: вылитый Шурка! Такой же кудлатый, конопатый, такие же толстые губы, и походка его, и разговор... Ну Шурка и Шурка. Только с чего бы, подумала Анна, Шурке Ширяеву в кинe взяться. Тот был просто деревенским парнем, а этот—артист. Однако на другой день кто ни встретится—Анна почтальонкой работает—только про то и речь.

— Видала? Нашего-то, покровского?! Вся держава Шурку смотрит! Ну, дает Ширяев!..

— А откуда известно-то, что это Шурка?—восторги односельчан были не по душе Репейниковой, а почему—сама не знала.

— Так в самом же начале было написано.

Что пишут в начале фильмов, Анна никогда не читала.

— Прямо так и сказано: «Шурка Ширияев»?—с тонкой насмешливостью спрашивала Анна.

— Не «Шурка», а «Александр Ширияев».

— Какой-нибудь однофамилец. Мало ли на свете Ширияевых...

— А похож? А рыжий, губастый? А выговор?..

Это раздражало Анну, но она сдерживала себя.

— Ну и что из того. Бывает и фамилия сходится, и как зовут, и наружность одинаковая, а люди—разные.

Собеседник тоже раздражался:

— Ну, это уже знаешь...

— Но что он покровский, там же не было написано. Чтоб Шурка Ширияев, сураз—и вдруг в телевизере...—Анна Репейникова откровенно нервничала.—Тогда не удивленье, если и корова петухом закукарекает...

А через какое-то время в «Кинопанораме» показывали отрывки из нового телефильма «Сельские были». Роль председателя колхоза Русанова играл там тот же артист, похожий на Шурку. Потом показали рядом с ведущим самого артиста и он, глядя прямо в глаза Анны, сказал, что сниматься в роли Русанова ему очень помогли впечатления, полученные в детстве и юности в родном сибирском селе Покровском. «Сходится,—с тоскливым тайным удовольствием подумала Анна. Но тут же с явным удовольствием возразила самой себе.—Да сел и деревень с таким названием по Сибири-матушке столько, что считать притомишься». И ей вспомнились два или даже три случая, когда приходили письма: «Покровское, такому-то». А такого-то в селе вовек не проживало. Просто заблукало письмо, вместо одного Покровского в другое попало. И когда Анна Репейникова увидела на почте пакет Мишки Игушева, адресованный в Москву на имя Ширияева Александра Ивановича, подумала неприязненно: «Еще, может, Федот-то вовсе и не тот». Недели через полторы Мишке пришел из Москвы ответ. «Сусановская, 17-54, Ширияев А. И.»—прочитала Анна обратный адрес. Ну и что из

того? Получил артист Мишкино посланье и пишет, мол, извиняй, дорогой товарищ, ошибся ты, в дружках у тебя я никогда не состоял—горшок чугунок не приятель. Анне очень хотелось верить, что ответ был именно такой. Посмотрела конверт на свет. Ничего, понятно, не различила. «А если его легонько расклеить и...» Однако от одной этой мысли у нее вмиг взмокла спина. «Затаскают ведь, если что!..» Скорым шагом пошла напрямик к игушевскому дому, бросила письмо в ящик и так же скоро подалась прочь... Позднее по тому московскому адресу ушло письмо из сельсовета, и тоже пришел ответ... А сегодня утром Леңка Гордеева—так важно, что куда там—передала по местному радио: «В семь часов вечера в клубе состоится встреча с нашим земляком, популярным киноактером Александром Ширяевым...»

По всем статьям выходило: Шурка—это сосед и ровесник Анны Веселовой, теперь—Репейниковой. И все-таки шла Анна в клуб, а кто-то неведомый ей шпынял под бок, подначивал: да не он это, не Шурка. Сейчас придешь и своими глазами увидишь—не он...

И вот она увидела. Из-за кулис прошли и сели за стол на сцене: по бокам председатель сельсовета и парторг совхоза, а в середине—никаких сомнений—он, Шурка. Все такой же кудлатый, рыжий, как солнце, конопатый, ровно через решето загорал, толстогубый... И все-таки сомнение явилось... Хоть на председателя глянуть, хоть на парторга—вполне интеллигентные. Но до гостя обоим далеко: у того и осанка полегче, и сел-то он поманернее, и одет по самой моде. Словом, приехал московский артист, и Анна вместе со всем народом ему хлопает во все ладоши. А стала б она, стал бы кто хлопать Шурке? Никакой это не Шурка. Но вот председатель сельсовета представил:

— Александр Иванович Ширяев, наш земляк... Ему слово...

Ширяев встал, подошел к самому краю сцены. Ему

снова бурно захлопали. Когда установилась тишина, сказал взволнованно:

— Спасибо вам, дорогие земляки, что вы сегодня здесь собрались,— приложил правую руку к груди и поклонился в зал.

И опять все захлопали. Анна раздосадовалась: сколько можно-то...

А когда Ширяев начал рассказывать про себя, про то, как стал артистом, кто были его учителя, какие приходилось одолевать трудности, в каких местах какие фильмы снимались—Анна слушала вполуха. Когда погасили свет и стали показывать отрывки из картин, в которых играет Александр Ширяев,— Анна смотрела вполглаза. И когда задавали вопросы, а Ширяев отвечал на них—тоже слабо внимала. Ей вспоминалось далекое-далекое, будто не в жизни бывшее, а когда-то виденное во сне.

...Жил Шурка вдвоем с матерью, за пьянство прозванной на селе Маней Бухой. Был он у нее суразом, то есть рожденным не от отца, а от проезжего молодца. Завалюха их стояла возле самой речки. Вокруг ни кола, ни двора, в огороде сплошной бурьян...

Как-то вечером гнала Анна с лужайки телянка и застигла у Медведевых в подсолнухах Шурку с Мишкой Игушевым. Обрадовалась:

— Ага-а-а. Вот я скажу-у-у...

Мишка достал из-за пазухи рогатку.

— Щас возьму и глаз выбью.

Анна струхнула: с него станет. И пошла на хитрость:

— Ладно, убегайте скорей.

Мальчишки сиганули через плетень и—в кусты. Анна же пришла домой и рассказала про подсолнухи и про рогатку матери. Та сразу же к Медведихе, Медведиха к Шуркиной и Мишкиной матерям. Обоим задали хорошую трепку.

С тех пор и началось. Анна пойдет на реку за водой, поравняется с ширяевской избой, Шурка выскочит на кри-

вое крылечко—кудлатый, чумазый, под носом сопля зеленая, штаны в дырках—завихляется, чисто клоун!—заприплясывает босыми ногами на прогнивших досках и скороговоркой:

— Я-бе-да, беда, беда! Я-бе-да, беда, беда!

· Анна своим чередом:

— Рыжий, рыжий, конопатый—был твой дедушка горбатый!—состроит рожу и покажет язык.

Рожу и особенно язык Шурке приходилось не по нраву. И он грозил вслед:

— погоди, пойдешь завтра из школы...

После уроков Анна или убегала домой раньше всех, или шла другой, окольной дорогой. А однажды, уже в начале зимы, что-то замешкалась в раздевалке, и Ширяев с Игушевым догнали ее возле колхозных амбаров. Ну, думает, сейчас в снегу накурят, а то и наподдают. И за то, что рассказала вчера учительнице, как они в орлянку играли, и что Анна им в чернильницу макнуть не дает, и подсолнухи припомнят, и все остальное... Но нет, вроде не собираются. Даже наоборот, Шурка по-доброму спросил:

— Что, Нюр, не проходит золотуха-то?

Анна сконфузилась. Из-за золотухи ее стригли под ноль, как мальчишку.

— Не проходит.

— Я знаю, как ее вывести. Надо иней лизать,— сказал Шурка.

— Какой иней?

— Всякий. А лучше всего с железа. Например, вот,— Шурка показал на заиндевелый обод телеги, вмержший в грязь.

Анна посмотрела на обод, потом на Шурку.

— Не ври.

— Чес слово, Нюр.

— Ага,— подтвердил Мишка.— Меня моя бабка так и вылечила. От золотухи же. Испыток не убыток, ты лизни разок.

Анна подошла, лизнула, и язык ее приварился к ободу...

После этого, когда Анна шла на прорубь за водой, наказывала себе: не смотри на ширьевские окна, не смотри—хоть там что. Но только поравняется с домом, услышит: «Нюр-ка! Глянь-ка!» И, вмиг позабыв о своем наказе, обернется. На крылечке вихляется и приплясывает Шурка:

— Я-бе-да, беда, беда!..

— Рыжий, рыжий, конопатый!..— продолжать до конца было без толку: у довольнешенького Шурки рот до ушей, уши заткнуты пальцами. От обиды и терзающей души досады глаза Анне застилала слезы.

— Паразит! Сураз кривопузый!

А Шурка кричал вдогонку:

— Язык-то покажи! Поди, покорооче стал...

Маня Бухая работала в колхозе свинаркой. Когда загуливала, свиней пас Шурка. Сядет на пенек, откроет книжку и читает. Свиньи возле травку пощипывают да похрюкивают. Видят, что пастух на них ни полглазом, и— в колхозную картошку. А Шурка все читает. Вдруг слышит над собой:

— Ты что ж, так твою перетак!..

Подымет голову—перед ним лошадиная морда, на лошади объездчик.

За потраву с матери пять трудодней—долой.

В другой раз с Мишкой в реку залезут, про все позабудут—свиньи опять в картошку... Словом, родительница была хороша, а помощник рос еще лучше.

А в седьмом классе перед самыми уже экзаменами что утворил. Вчера ученики вскопали пришкольный участок, малину, смородину, другие кустики посадили, цветы посеяли, а сегодня утром директор Ангелина Савельевна видит картину: все поизломано, поистоптано, на гряды кирпичей, камней набросано. Кто такое утворил? Ей сказа-

ли, мол, Ширяев с Игушевым, больше некому. Призывает в кабинет обоих.

— Вы это сделали?

— Нет.

— А мне сказали, что вы.

— Кто сказал?

— Не имеет значения.

— Имеет. Пусть он повторит свои слова при нас и посмотрит нам в глаза.— Это все Шурка. Мишка, тот стоял и помалкивал.

— Давайте-ка, голубчики, подбру-поздорову все уберите с участка, иначе до экзаменов не допущу.

— Мы не бросали камней и убирать их не будем...

И ведь не стали. Весь класс, жалеючи их, дураков, убирал, а они не пошли. Ангелина Савельевна хоть и бранчливая была, а отходчивая, простила их. Так Шурка, вместо того чтоб спасибо сказать или просто позабыть, что было, другой фортель выкинул. Уже когда в город уехал учиться на шахтера, рассказывали, письмо в школу прислал: каменьев, мол, мы с Мишкой не бросали, напраслину вы, Ангелина Савельевна, на нас возводили. Сейчас, пишет, я знаю, кто набросал, но говорить не стану, пусть наберется храбрости, явится к вам сам и скажет... Ага, жди, пришел он и сказал—дураки давно повывелись. Да и не знаешь ты никого... Ну ты ль напакостил, или кто другой, какая теперь разница—все уже давно убрано и позабыто. И ты позабудь. Так нет же. Надо у человека на нервах поиграть! А она, Ангелина Савельевна, все ж таки уму-разуму тебя учила. Да, видно, не в коня корм...

Другой весной Маня Бухая померла. Напилась, вьюшку раньше времени закрыла и угорела, откачать не смогли. После похорон Анна Шурку больше не видала. Только письма его Мишке Игушеву носила. А когда Мишка закончил десятилетку и уехал учиться в институт, то само собой, и письма ширяевские прекратились. Когда Анна лежала в роддоме с первой девочкой, говорили, наведы-

вался Шурка в Покровское. В бостоновом, рассказывали, костюме, при галстукe, в дорогих туфлях. Как раз и Мишка на каникулы приехал. Так несколько ночей народу спать не давали. На одном конце села гармонь заведут, развернутся да обратно. Шурка с Мишкой попеременно играют, а девки поют...

И все, с той поры не было об Шурке ни слуху ни духу. Анна уже и забывать его стала. И вдруг в телевизоре замелькал, артистом сделался. И кто б подумать мог. Шурка Ширяев, который по чужим огородам шастал, обзывался, хулиганничал—и вдруг... Нет, никак это в голове Анны Репейниковой не укладывалось...

...После того как Александр Ширяев на прощанье раскланялся с земляками и ему отхлопали в последний раз, многие ринулись на сцену. Окружили артиста плотным кольцом и протягивали ему, кто тетрадку, кто просто листочек, чтоб он расписался. Иные же просто стояли и глазели на него. Анна, поколебавшись, тоже поднялась на сцену. Стояла в сторонке, разглядывала: рыжий, кудлатый, лицо в конопушках, толстые губы... Он, Шурка Ширяев...

И вот тут он Анну и увидел. Брови, будто испугался чего, подпрыгнули.

— Нюра?!

— Здравствуйте, Александр Иванович,— Анна уважительно поклонилась и не то оробела, не то застыдилась чего, краска ударила ей в лицо.

Люди вокруг Ширяева расступились. Он порывисто шагнул к Анне, обнял ее.

— Здравствуй,— поцеловал в щеку, в другую. Анна уловила тонкий запах духов.— Здравствуй, родная ты моя! Ну, как поживаешь-то?

— Спасибо. Пока хорошо. Вы-то, Александр Иванович, как?

— А зачем навеличиваешь-то. Шурка я тебе, друг детства, однокашник. Так ведь?

— Да вроде так,— конфузливо ответила Анна.

— Вот и будем, как прежде, на «ты». А жизнь моя, Нюра, сама видишь, снимаюсь, езжу, сын с дочерью растут. А у тебя?

— Две дочери.

— Замуж отдала?

— Уже бабка.

— Ну, ты молодец. А мои еще...— тут Ширяев через проем открытой двери увидел в фойе Михаила Игушева.— А ты, дикарь, что там прячешься? А ну, агроном, иди сюда—и, как давеча к Анне, порывисто шагнул навстречу Михаилу.

Пока они тискались, обнимались, оглядывали друг друга, Анна тихонько спустилась со сцены и вышла из клуба...

Уже дома она почувствовала вдруг себя уставшей, разбитой, почти больной. Переделалась, подоила корову, собрала для Евгения кое-какой ужин—сама она ничего не хотела—и легла в постель. Было одно желание: сейчас же и крепко-крепко уснуть. Тем более хотелось, что она уже знала: ночь будет трудной.

Она лежала и испытывала точно такое же чувство, как однажды, когда новый начальник узла связи объявил благодарность Нинке Глуховой и такую же благодарность, ни на буковку больше, ей, Анне Репейниковой. Хотя Нинка работает почтальоном без году неделю, тогда как Анна меряет село шагами почти три десятка лет. От такой несправедливости у нее ныла, как нарыв, душа и до утра не просыхали глаза. Не ее, не Анну обидел начальник, а справедливость. Вот и сейчас она чувствовала то же нытье в груди. Анне виделась страшная несправедливость в том, что Шурка Ширяев—рыжий, конопатый, сураз, голь, шмоль вшивая и сопливая, хулиган, непочтенец—она дала волю своим мыслям и чувствам—вдруг объявляется артистом, от которого люди, как увидят в телевизоре, прямо дуреют, шлют ему похвальные письма, хлопают ему до

пупырей на ладонях, суют книжечки и листки, глазами чуть не съедают. За что, ну за что ему это, Господи? Нет, Анна совсем не про то, что, мол, Шурке досталось такое, что должно бы достаться ей. У нее все, чего она хотела в этой жизни, есть, всем она довольна. Расстраивается она ради лишь одной справедливости. Бог ли, судьба или люди чего-то напутали, недоглядели, и вышла большая несурьезь. Вот когда Шурка играл в картине «Василий Прокопьевич» роль Савкина—недотепы, пьяницы и голодранца—вот это был настоящий он, Шурка Ширяев. Настоящую свою судьбу он там играл, которая по чьему-то недогляду досталась кому-то, а не Шурке. Артистом он стал. Да таких артистов!.. Господи, ну какой артист может выйти из Покровского, где живут обыкновенные люди, которые всю жизнь только то и делают, что гнут спину, месют грязь, хлещут водку, плодят детей, матерятся, строят избы... Артисты, художники, писатели, певцы, вообще большие видные люди рождаются не в таких местах, а ... Анна много раз уже пыталась представить места, откуда выйдут большие люди. И всякий раз казалось, еще маленько, чуть-чуть, и она все явственно увидит... Но что-то не давало. Однако она точно знала, что места те необыкновенные. И люди там необыкновенные. Не чета Шурке Ширяеву. Кто он, Шурка-то? Безотцовщина, нищеврод...

Негодующие, терзающие душу мысли шли по одному заколдованному кругу, будто она блуждала в крошечной мгле.

— Что за нечистый дух!—в сердцах говорила Анна, переворачивалась на другой бок и пыталась заставить себя думать про Шурку поспокойнее, поравнодушнее, если уж нынешней ночью нельзя, не суждено не думать об нем вовсе. Ну стал артистом, в кинах снимается, тебе-то что, увещевала она себя. А по-доброму бы, так даже гордиться надо—все ж таки рядом жили и росли. Другие ж вон гордятся...

И, настроив себя на этот лад, Анна представляла, что

в Покровское приехал из Москвы корреспондент и стал выпрашивать ее, какой он, Шурка, то есть Александр Иванович Ширяев, был в детстве. Анна, мысленно пожевав для скромности губы, мысленно же начала рассказывать. Мол, детство наше известное, послевоенное—бедность, недостатки. Но, как могли, старались, росли. И Шура Ширяев рос. Правду сказать, хороший парнишка был, смывленный. Учился хорошо, прилежно, учителя его в пример нам ставили. Книжки умные читал. Во всем матери помогал и колхозу. Уважительный был. К примеру, встретится на улице старый человек—непременно поздравляется и сумку поможет до дому донести, моей матери сколько раз подносил. И товарищей своих, ровесников уважал, зря не обидит. Оно, конечно, не без этого... Да, Господи,—дети ж,—сегодня ругаемся, завтра опять дружимся. Не у одних у нас, у всех так было. Поди, и у вас тоже. Я так понимаю, что все, в чем он был воспитан, потом пособляло ему стать артистом. Он и сам про это говорил, когда недавно вот приезжал в Покровское... К слову, думала, меня совсем позабыл. Нет, узнал. «Нюра!»—говорит. Обрадовался. Подошел, обнял, поцеловал. А пахнет от него такими приятными, хорошими духами...

На этом воображаемый разговор Анны с корреспондентом оборвался. Она явственно услышала запах Шуркиных духов. Подумала, чудится. Потянула носом—пахнет. На щеках, что ли, осталось. Перевернулась на другой бок, чувства и мысли пошли по прежнему кругу: Шурка Ширяев—конопатый, безотцовщина... и вдруг от него такой тонкий приятный запах. Ну, за что ему всё?.. Запах, который все тревожил ее обоняние, сделался отвратительным и ненавистным. Поднялась, пошла умылась,—хорошенько, с мылом—опять легла. И опять почувствовала—пахнет.

— Вот же нечистая сила!—проговорила Анна вслух.

И тут же, будто отвечая ей, где-то совсем близко пропел петух дразнящим Шуркиным голосом:

— Нюр-ка-а! Я-бе-да, бе-да, бе-да-а-а!

«Да уж и не в самом ли деле нечистая сила мной водит?»—в страхе подумала Анна и села на кровати. И будто рядом со шкафом увидела ее, Нечистую Силу, страшную, ни на что не похожую.

— Сгинь, сгинь, сатана!—махнула рукой Анна.

— Ты чего?—подхватился Евгений.

— Нечистая Сила,—шепотом ответила Анна.— Вон там...

— Чего-о-о?—Евгений дотянулся до торшера, вспыхнул неяркий желтый свет.

И Анна увидела рядом со шкафом, в зеркале, самое себя, сидящую на кровати, патлатую, с измученным опавшим лицом, в измятой ночной сорочке, распахнувшейся на груди.

— Чего, спрашиваю, кричишь-то?—вяло спросил муж.

— Чего, чего-о-о,—Анна уронила лицо в подушку и зашлась в нервном плаче...

1985 г.

РАЗЛЮЛИ-МАЛИНА

Дочери Лене

Тетя Настя, Анастасия Петровна Куликова—самая младшая сестра моего отца. Она родилась уже после того, как отец четырнадцатилетним парнишкой уехал в начале века с одним из своих дядьев из поволжского села на вольные сибирские земли. Впервые увиделись брат с сестрой, когда отец возвращался с действительной службы и завернул в родное Алексашкино. Дело было летом на заходе солнца. Толкнул дверь отчего дома—заперто изнутри. Все на сенокосе, догадался, а домовничает, должно быть, Настя. И правда, на стук отозвался детский голос:

— Кто там?

— Я, Настенька, Федя—брат твой. Отворяй.

За дверью молчание. В щели мелькнул голубой глаз.

— Ну, сестрица...

— Батюшка наказал никому не открывать. Ступай мимо,—сурово сказала Настя.

— Говорю, брат я твой.

— Нетушки, не обманешь.

— Вот те крест.

— Ага, так я и поверила. Не думай, я тоже хитрая.

— Я тебе, Настя, гостинцев привез...

— Ступай, ступай, а то щас батюшка приедет. Или кликну вот людей...

Сколько ни увещевал, все без толку—не открыла. Делать нечего. Пошел к соседям...

Родители и старшие братья с сестрами приехали с покоса уже потемну. Настя, конечно, первым делом принялась с таинственным шепотом рассказывать, как к ней стучался серый волк, чтобы ее, Настю, цап-царап—утащить в буерак и там съесть. А чтобы у него половчее получи-

лось, оборотился большим солдатом, сулил разные богатые посулы, братом назывался. Но Настю не проведешь, она... И тут выдумщица прикрыла рот ладошкой и попятилась в угол: в избу вошел волк в образе солдата. Все кинулись к нему, но почему-то стали не гнать и бить его, а обнимать и целовать...

В ту ночь Настя спала, прижавши к щеке желтые хромовые ботинки, и с недоеденным тульским пряником под подушкой.

А через несколько дней за околицей она никак не хотела расставаться с братом Федей, плакала и просила взять ее с собой в Сибирь.

— Вот немножко подрастешь, и я за тобой приеду,— обещал брат и гладил Настю по русой голове.

У отца и в самом деле было намерение взять меньшую сестру из многодетной семьи, выучить, поставить на ноги... Но не сбылось. Началась империалистическая война, за ней гражданская. И там, в Поволжье, случился страшный недород—родители, две сестры и брат умерли голодной смертью, остальных нужда погнала по свету, и кто тоже сошел в могилу, кто сгинул куда-то. Через несколько лет объявилась одна Настя. Она жила в няньках у чужих людей в городе Покровске, который позже стал Энгельсом... Потом началась коллективизация, опять война. А там уже подкралась и старость с разными хворостями. В последние годы жизни отец всерьез и даже как-то суетливо то сам собирался поехать к сестре, то звал ее. Раза два посылал ей деньги на дорогу, раза два—она ему. Но все что-то мешало обоим, и так они и не свиделись больше...

У меня хранится несколько фотографий тети Насти и дяди Коли, ее мужа. Выражение лица дяди Коли на всех снимках одинаковое—спокойно-мудрое, доброе, взгляд доверчивый, как у ребенка. Тетя Настя же везде разная. Впрочем, не так, наверное. Суть ее остается неизменной, а вот проявляется она всякий раз по-разному. То тетя смот-

рит на тебя в упор и со строгой настойчивостью что-то в тебе отыскивает; то будто бы ее оторвали от неотложного дела и попросили сесть перед фотоаппаратом, она уважила просьбу, но нетерпеливо ждет конца съемки, чтобы вновь взяться за прерванное дело; то вроде как позируя перед объективом, слушает балагурства фотографа и, раззадоренная, жалеет, что не может в сей же миг достойно отбрить шустряка... Похоже, тетя моя интересной, незаурядной личностью была... А, собственно, почему это—была? Почему я думаю о ней в прошедшем времени? Сел однажды и написал письмо. Вскоре получил ответное. Должно быть, соседская девочка писала под диктовку тети Насти: слава богу, живу помаленьку—девятый уже десяток пошел. А Коля мой умер, вот уже два года как. Спасибо, что ты объявился, рада я, не знаю как, и шибко хотела бы на тебя посмотреть...

Приехал я к тете Насте перед концом лета.

Нажал на кнопку звонка и затаил дыхание. Послышались неспешные шаги. Голос:

— Кто там?

У меня как-то само вырвалось, хоть и робко:

— Серый волк...

— А ну-ка, а ну-ка, посмотрю на него, а то давно уж не видывала.

Клацнула защелка, и я увидел тетю Настю, очень похожую на ту, которую знал по фотографиям. Конечно, теперь у нее лицо исчерчено морщинами и рыхловата телом, но взгляд живой, насквозь пронизывающий, на губах играет нетерпеливая, совсем молодая улыбка.

— Здравствуй, здравствуй,—сказала это так, будто я утречком уехал не далее как за Волгу, в Саратов, и вот к вечеру вернулся. Ну, конечно, обнялись, расцеловались, в остальном же—будто, говорю, всю жизнь рядышком с ней прожили.

Гостинцы приняла молча. А когда я выставил бутылку красного, ткнула в нее пальцем, нахмурилась, посуровела, спросила басисто:

— А это зачем?

— По рюмочке за встречу, думаю, не грешно..

Поколбалась, согласилась без охоты—лишь из уважения к гостю:

— Ну, если только за встречу...

Чокнулись. Тетя оставалась все такой же хмурой и суровой. Пригубила рюмку, вернее, только сделала вид, что пригубила, поставила на стол.

— Нет, сынок. Батюшка мой, а, стало быть, твой дедушка Петр Максимович говорил: в вине обман и лукавство. А нам с тобой по правде побеседовать надо.— И убрала бутылку со стола. И вмиг сделалась милой доброй старушкой. Стали мы с ней чаевать да беседовать и никак не могли набеседоваться...

Квартира у тети Насти—лет пять назад выделили дяде Коле как ветерану войны—большая, двухкомнатная, хорошей планировки, с балконом и лоджией. Лоджия выходит на заросший буйным чертополохом большой пустырь—то ли под какое строение оставлен, то ли под сквер, а пока что на нем гомонили подростки. Уже сгущались сумерки, я достал сигарету и вышел на лоджию. Тетя Настя переполошилась, ухватила меня за рукав:

— А ну! Какой-нибудь хулиган возьмет да и швырнет камень ради игрушки, а твоя должность не шибко частая, да шибко людям нужная.

Я повиновался, направился на балкон, который выходит во двор. Однако тетя Настя не пустила меня и туда.

— Думаешь, на светлой стороне дураков не бывает? Дыми тут, коли уж невтерпеж. Пострадаю. За ради людей-то,—засмеялась...

На другой день почти с самого утра повела меня тетя Настя по родне, которой, оказывается, здесь полным-пол-

но. Правда, все больше девятая вода на киселе, но не навестить нельзя—обиду на сердце положишь.

— Надень пинжак и галстук,— распорядилась тетя Настя.

— В такую-то жару?

— Ничего, потерпишь. Ты человек не простой.

На эти ее слова и памятуя вечерошние, я заметил, дескать, слишком вы, тетя, преувеличиваете, человек я самый обыкновенный, одного с вами, простого роду.

Тетя Настя выслушала меня с настороженным вниманием, а когда я закончил, восторженно заулыбалась:

— Вот это ты верно. Не закидывай, сынок, головы: не ровен час спотыкнешься.

Но надеть пиджак и галстук все-таки заставила.

Стоим на остановке. Троллейбуса нет и нет. Говорю:

— Давайте на такси поедем.

Досадливо махнула рукой.

— Для меня это—баловство. А для тебя—барство.

Когда наконец подошел троллейбус, шепнула:

— Пушай сперва старики зайдут—не вводи меня в конфуз...

Всюду, куда мы заходили, у меня создавалось впечатление, будто из далекой Сибири приехал не только, даже не столько я, сколько тетя Настя, а я попутно с ней. Встречали ее с восклицаниями радости, в доме начиналось оживление, граничащее с восторженным переполохом. Тетю Настю усаживали на самое почетное место, ей лучшую чашку, поближе к ней всякое кушанье, первое слово—ей... Однако за искренней почтительностью в поведении хозяев замечались те легкие робость и угодничество, какие помимо воли проявляются даже в самых исполнительных и порядочных подчиненных при неожиданно нагрянувшем высоком начальстве, справедливом, однако строгом, дошном и не дающем спуску. И как при высоком же начальстве, бывает, с подчиненными происходят разные кон-

фузы, происходили они и с хозяевами при гостевании тети Насти.

Моя аж троюродная племянница Фрося, златокудрая женщина средних лет, при виде тети Насти сначала растерялась, а уж потом обрадовалась и стала стрелой летать из комнаты в кухню, из кухни в комнату—там гремела посудой, здесь расстилала на столе скатерть. Там мыла, несла сюда нам по яблочку: «Побалуйте, пока я...» Доставала из шкафа и раскладывала салфетки, бежала за чашками... И вот уже исходящий паром электрический самовар на столе, вокруг него вазы с печеньем, вареньем, конфетами... А Фрося все летала из комнаты в кухню и обратно, все что-то несла. Тетя Настя исподволь, но зорко следила за ней. Улучила момент, толкнула меня локотком, прыснула в ладошку:

— Сахар не поставит. Вот увидишь. А только об-ем и думает: я ж ни с чем, кроме сахара, не пью.

Наконец Фрося, раздурманенная от суеты, оглядела стол, осталась собой довольна, с легким поклоном обернулась к нам:

— Ну, гости дорогие, спасибо, что наведались. Присаживайтесь, попьем чайку.

Сели за стол: тетя Настя и Фрося рядом, я напротив них.

— Давайте попьем,—тетя озорно подмигнула мне,—хоть пустого, коль сахар из моды вышел.

Фрося в мгновение ока обшарила взглядом стол, испуганно уставилась на тетю Настю.

— Хос-поди!—всплеснула руками, поднялась, снова села, заплакала.—Ну, бабушка! У вас прямо какой-то гипноз!..

— Ну ты чего, чего,—тетя тронула Фросю за плечо. Фрося уронила голову ей на грудь.— Уймись, голуба моя, ты ж не нарочно. Уймись, тут все свои, чужих нет. Ну, ягодка...—уговаривала тетя Настя ласковым гортанным баском и гладила Фросю по кудрям.

Фрося подняла голову, вытерла салфеткой слезы, улыбнулась.

— Вот и ладно, вот и хорошо. Сегодня я довольная тобой. Совсем довольная. Все у тебя прямо разлюли-малина, так что можно и без сахара обойтись...

Еще по пути к Фросе тетя Настя поведала мне: уже не молодница ведь, а гостей принимать не научилась и не шибко обрядная: стол накрывает как ни попадя, чашки толком не промыты, чай у нее поспеваает, когда гостям уже откланиваться время подоспело. Тетя Настя долго терпела это, наконец не выдержала, сделала Фросе вычит. За все сразу и без обидяков. Побещала: «Вот нагряну к тебе с контролем. Не переменяйся—пеняй на себя». Получалось, что сегодня мы явились с контролем. И Фрося не осрамилась.

Уже вечером по дороге домой мы завернули к Жорику. Жорик Куликов—дальний родственник со стороны дяди Коли. А может, просто однофамилец. Лет двадцать назад дядя Коля лежал в больнице и разговорился там со старичком с аккуратной белой бородкой, и оказалось, что оба они носят одну фамилию, оба родом из Смоленской области, из одного, Ярцевского, района и даже из соседних деревень. Порешили: от какого-нибудь одного пращура произошли. И стали родниться. Старичка звали Дмитрием Андреевичем, жену его Анной Тимофеевной. Оба были закройщиками и единственному сыну передали свое ремесло. Жорик—ему уже около сорока—и умный, и работающий, и добрый, и жена ему попалась с хорошим нравом, но с каких-то пор стал заглядывать в рюмку. Когда Дмитрий Андреевич помирал,—Анна Тимофеевна раньше его скончалась—просил тетю Настю: «Уж ты, сестрица, доглядывай его. Тебя он не ослушается». Тетя Настя пообещала: «Как смогу, догляжу, сил не пожалею». И держит свое слово. Конечно, совладать с пьющим человеком дело шибко непростое—на небо легче залезть, по мнению тети Насти.

— Уже весь, какой был, умишко извела на Жорика, а толку...

Толку мало, но все-таки есть. Тетя знает характер своего подопечного вдоль и поперек и выбрала струнку, на которой хоть как-то можно играть. Жорик хороший семьянин, в жене и дочери души не чает. И вот однажды тетя Настя объявила ему высшую меру наказания—условную пока:

— Не протрезвишься, Георгий Дмитрич,—заберу Верунью с Иринкой к себе, ей-бо, заберу. Может, и не разлюли-малина жить будем, но все ж, думаю, получше, чем они с тобой мытарятся. А тебя я, как худую траву с поля, из сердца вон. И кончен бал,—при последних словах тети Настя ударила, как точку поставила, клюкой в пол.

Жорик знает характер тети Насти не хуже, чем она его: если уж что пообещала—не она будет, сделает. Дал слово:

— С этого дня все—в рот не беру.

И правда, с год как стеклышко был. Месяца три назад сорвался. Тетя Настя, не читая морали, спросила:

— Ну так что, голубь мой, буду приводить приговор в исполнение.

Жорик уговорами, мольбами и заверениями выпросил у тети Насти прощение. Да и сама она понимала: не надо шибко круто заворачивать—телега может перекинуться.

— Но завяжи узелок на память: больше тебе потачки не будет...

Открыл дверь сам Жорик, под потолок ростом и косяк сажень в плечах. Завидев тетю Настю, добродушное лицо его расплылось в улыбке.

— Хо! Кого я вижу! Товарищ Капитанша!—взял «под козырек», «пристукнул каблуком и полез к тете с объятиями, та отстранилась, а я услышал винный запах. А вид Жорика сделался таким, как если бы он вдруг обнаружил, что встречает гостей нагишом—покраснел, растерялся, метнулся было в комнату, ударившись плечом о косяк,

повернул в кухню, с ходу убрал со стола недопитую бутылку водки, принялся суетливо сметать в ладонь крошки хлеба, какие-то объедки.

— Верунья где?—внешне бесстрастно осведомилась тетя.

— Вчера на курорт уехала,— прерывисто и глухо ответил Жорик.

— А Иринка?

— В пионерлагере.

Их взгляды, мелкий и увертливый Жорика и суровый, пронизывающий тети Насти, встретились, меж ними произошел короткий, но емкий безмолвный диалог, после чего тетя, опершись на клюку, повернулась к двери и мне:

— Айда.

Жорик ринулся из кухни в прихожую, приложил руку к груди:

— Бабушка! Я только чуть-чуть... Илюхина хоронили. Я не пил... Могилу копал... Нервы, честное слово... Я чтоб успокоиться...

Тетя, стоя спиной к Жорику, пропустила меня вперед, затворила за собой дверь.

— Кончен бал!..

Уже на улице я сказал:

— Убили вы его.

— А ты, гляжу я, уж больно жалливый,— сердито отозвалась тетя Настя. Жалеть-то тоже с разумом надо.

— Но вы прямо вон как, без единого слова.

— У нас с ним договор.

— Но можно же было...

Тетя Настя не дала мне договорить, резко остановилась, ударила клюкой в асфальт тротуара:

— Ты мне душу не береди! Я и без твоих речей готова повернуть назад. А договор? То-то. Вот и пошагивай и по-малкивай...

Было б велено. Я молча пошагивал рядом с тетей, а она говорила:

— Ты, сынок, не сердчай на меня, старую,— дело-то уж больно сурьезное. Надо ведь исхитриться так, чтоб и щенок был, а и не сукин сын... Время до Веруньинового возвращения есть, что-нибудь придумаю. А оң пусть помается—на пользу... Ну, а коль ничего не придумаю, тогда только одно—приговор в исполнение...

За прямоту, крутой и строгий нрав тетю Настю в родне и среди знакомых прозвали Капитаншей. Конечно, поводом явилось то, что дядя Коля был артиллерийским капитаном, а она, жена его, само собой, капитаншей. Однако в прозванье это слово перешло не так давно, после одного разлюли какого случая. До него же тетя Настя была Большевичкой, а еще раньше—Пираткой... Впрочем, об этом надо рассказывать подробнее и по порядку.

Вскорости после того, как в двадцать первом году умерла от голода моя бабушка, тетя Настя ушла в Покровск. Прощаясь с ней, дедушка Петр Максимович дал всего один наказ: «Береги голову, но пуще ее людскую честь». В городе тетя Настя нанялась в няньки. Хозяин землемер, хозяйка акушерка. Оба люди хорошие, душевные, кроме добра от них ничего не видела. И девочка их Нина очень приглянулась. Без малого три годочка, а такая же смышленая, такая щебетунья да весельница была... Словом, устроилась, слава Богу, жить можно. Только очень уж скучала по батюшке. Хозяин видел это и однажды сказал, что со временем можно будет и отца Настинного выписать и устроить в городе. Такая надежда вздымала силы, девушка бралась за всякую работу, угадывала желание хозяев, чтобы еще больше понравиться и чтобы, упаси Боже, хозяин не передумал выписать батюшку.

Но однажды в лавке встретила с человеком из Алексашкина, и тот сказал, что батюшка ее, Петр Максимович, умер в Питерке, в уездном приюте для престарелых. Сначала не поверила. Но не может же, подумала, так шутить

человек. И тут закричать бы ей кричмя (в левобережной части Саратовской области слово **кричать** обозначает еще плакать, даже если это делается беззвучно), но крик стал в горле комом. За весь тот день и за всю ночь не пролила слезинки. Наутро хозяева посоветовали то, чего сама хотела, но стеснялась сказать:

— Поезжай, Настя, пусть хоть люди укажут тебе могилку родителя. На могилке, может, и заплачешь...

Тем же днем и отправилась в Питерку—почти за двести верст. Где шла, где добрые люди подвозили. На шестой аж день добралась до места.

Дальше пусть рассказывает сама тетя Настя.

— Нянечка — или кем она была в том приюте—худая, высокая, еще не старая женщина, как узнала, чья я дочь, заробела-заробела чего-то. Но указать могилку сразу согласилась. Повела меня на кладбище. Дарьей Осиповой звали ее, как сейчас помню. Иду рядом с ней, думаю, видно, душевная женщина, отдам ей сережки, поди, как всякий сейчас, тоже в нужде живет. Это когда я снарядилась в Пóкровск, батюшка дал мне серебряные, сосульчками такими, сережки—от матери остались,— мол, это тебе, дочка, на самый крайний случай, а, бог даст, все хорошо—сама носить станешь. Я не хотела брать, отнекивалась как могла, может, говорила, самому сгодятся. Привела она меня к батюшкиной могилке, говорит: «Шибко хотел тебя перед смертью увидеть...»,—и еще какое-то слово хотела сказать, но смолчала. И опять заробела чего-то. Говорю ей: «Хочу одна с батюшкой беседу беседовать. А вам спасибо за вспоможенье... и еще вот это»,— подала ей сережки. Глянула она на них, в самые глаза мне глянула, а потом пала к ногам моим и давай обутку целовать да причитать: «Ой, Настюшка, чисто серденько, подлая я, подлая!..» «Что вы,—перепужалась я,—подымитесь, Дарья Осиповна». А она: «Не встану, пока не покажусь перед тобой. Дядя Петро, когда помирал, дак рубль мне на ладонь положил и говорит, мол, отдашь Настень-

ке, когда придет. Подлая я, девонька! Подлая, дядя Петро,—поворотилась, упала грудью на батюшкину могилку,—не исполнила твоего наказа, слукавила, не твое дитя, своих сиротинушек пожалела. Прости меня, дядя Петро, прости, Настенька, коли можешь, а нет—пусть Господь меня покарает...» Кое-как подняла ее, говорю: «Не казни-те себя, Дарья Осиповна,—прощаю вас. Ребят-то сколько растите?» «Четверо»,—говорит. «Значит, ваша доля впятеро горше моей, значит, вам и сережки». Хоть и с горем пополам, но так и сделалась. Ушла она, и стала я беседовать с батюшкой. Про все ему поведала. Растаял ком в горле, а все покричать так и не смогла. И, скажу тебе, после никогда ни в каком горе не кричала: в пустом не хочется, в большом не может. Вот и когда Коля умер: стал ком в горле и хоть ты что. Бабы знают меня, так ни одна не осудила...

Из Питерки тетя Настя вернулась опять к своим хозяевам. Жила у них еще два года, пока хозяина не перевели куда-то далеко. Шибко звали и ее с собой, но она не решилась ехать в чужие неведомые края. Проводила людей, ставших ей родными, и пошла работать в подсобное хозяйство свинаркой.

Считается, что самое умное животное—собака. Тетя Настя не спорит—всяк пес понятливый, однако животные понятливее свиньи нет. Это не всякий и не сразу заметит, потому что свинья еще себе на уме. А еще шибко чистоплотная. Потому и в грязи вываливается. Грязь обволачивает шкуру, и все паразиты, какие на ней есть, задыхаются. А кроме того комары, пауты, оводы и прочие кровососы не донимают—хобот короток сквозь штукатурку-то впиваться. И очень характерная свинья. Ладить с ней можно только добром и миром. Иначе—никак.

Свинарник стоял на берегу Волги. И тете Насте пришлось в голову научить свиней принимать водные процедуры. И научила. А сначала научила их ходить строем. Или, как говорит сама тетя, веревочкой. До настоящего строя

свиньям, конечно, далеко, да и ни к чему им—они не солдаты, у них совсем другое назначение.

Утром подавала команду:

— А ну, мои хорошие, веревочкой становись!..

Матерый боров Пират подходил к самым воротам и замирал. Остальные друг за дружкой становились сзади него. Свиная распахивала ворота.

— Умываться—шаго-о-м марш!

И веревочка тянулась к реке, тетя Настя, как ей и положено,—сбоку. В воде свиньи разбивались попарно, голова к хвосту или голова к голове, уж каким как понравится, и ширкали друг дружке бока. Пирата мыла и скребла сама тетя Настя, а он за это на плаву катал ее на спине.

После купанья—бег рысцей. Потом—завтрак, затем—свободное время, которое свиньи использовали в основном на принятие грязевых ванн.

Начальником тети Насти был Иван Корнеев. Звания вроде простого, а повадками—ханжа и пустосвят. Щеголивый—сапоги гармошкой, кожаный картуз набекрень, в зубах длинная папираса. Явится и начинает чваниться, как гусь среди двора:

— Настыка! А ведь я тебя, Пиратка, кажись, выгоню!

— За что это, Иван Савельевич?—с невинной простотостью, за которой пряталась издевка, спрашивала свиная.

— Среди свинства физкультуру разведа?! Над чем трунишь? На что надумку делаешь?

— А на то, что всякая животина догляд и уваженье любит. Как и всякий человек.

— Ты мне, Пиратка, турысы не разводи, зубы не заговаривай.—Корнеев грозил пальцем.

Тетя Настя смеялась в рукав. А Пират ощетинивался, набычивался и начинал наступать на крикуна. Корнеев махал на борова обеими руками.

— Усь, усь, паразит!—опасливо пятился к воротам.—
Настька, уйми его!..

— А как я уйму его, Иван Савельевич? Он же, видите,
какой дикой.

— Уйми, Пиратка! Он тебя однуё признаёт!—Корнеев
продолжал пятиться.

— Признаёт! А в таком разе не признаёт.

А Пират, сердито урча, все наступал. Корнеев не вы-
держивал, кидался опрометью к воротам и перемахивал
на ту сторону. Оттуда уличал:

— Это ты, контра, против меня наставляешь его. Ты
поймей в виду: агитация животины против начальства—
это агитация против советской власти. Поняла? Такое те-
бе даром не пройдет! Ты меня попомнишь...

Дружба между Пиратом и тетей Настей длилась не-
сколько лет. А кончилась она плохо. Когда в свинарнике
очередной раз появились бойцы, Пират почувал: по его
живот. Сделался как безумный и к себе в загородку не
пустил погубителей. Без Настьки-Пиратки было не управ-
виться. Нашли ее за углом свинарника: заткнув пальцами
уши, она лежала на траве.

Жалость жалостью, а дело делом. Заговорила ласково
с Пиратом, почесала за ухом—поуспокоился. Заскребла
бок—заохал, выгнулся от удовольствия, повалился на бок,
закрыл глаза.

— Давайте живо,—шепнула.

Бойцы просунули в щель веревку, тетя Настя накину-
ла петлю на ногу Пирата, Пират тем же мигом сообра-
зил: обманут, предан! Вскочил и с такой яростью кинул-
ся на тетю Настю, что замешкайся она на секунду—раз-
зорвал бы.

Решили Пирата пристрелить.

Пока ходили за ружьем, тетя Настя ушла из свинар-
ника. Насовсем. Горло ее долго сдавливал густой ком,
боль от него отдавала в самое сердце...

С тех пор и до самого выхода на пенсию тетя моя ра-

ботала на стройке. Подсобной рабочей. Не один этаж не одного строения подняла она на «козе» за спиной по дощатым трапам—техники-то в те поры было кот наплакал. И вообще условия были не ахти какие. К примеру, сегодняшняя передвижная мойка-раздевалка и во сне не снилась. Так тетя Настя шла на объект в чистом, а рабочую одежду несла в авоське. Где-нибудь в закутке переодевалась. Рабочие над ней попервости посмеивались, шушукались меж собой, мол, тронутая, что ли.

— Полно тебе, Настышка, модиться, жила бы, как водится.

Тетя Настя смалчивала. Потом ей все это стало надо-есть. Однажды спросила:

— Сейчас работа—что?

Ей ответили без раздумья и насмешливо:

— Как и раньше: то, от чего люди горбатыми делаются.

— А я слыховала, работа—праздник. А на праздник люди ходят какими? Наряженными. Вот я и ряжусь...

Бригадир Парамонов вник в рассуждения подсобницы, тряхнул головой.

— Хм. А ить резонно говорит. Как настоящая больше-вичка.

Рабочие тут же подхватили, стали называть тетю Настю большевичкой. Сначала как бы дразнили, а потом это слово пристало к ней как прозвание.

Василий Васильевич Парамонов был человек в годах, ростом с коломенскую версту, худой, жилистый, шаг широкий и неторопкий, как у верблюда. И в работе напоминал верблюда же. Поначалу неуклюж, тяжел, неразворотлив, дальше все живее, живее и вот—кепку на затылок и пошел: шматок раствора, кирпич на него, рукояткой мастерка стук-стук. Шматок, кирпич, стук-стук, шматок, кирпич... Разойдется так, ровно и останову ему никогда не будет, ровно не он это, а машина какая. Крякнет, одним глазом стрельнет в подсобницу:

— Давай кирпич, Настька... Раствору подбавь. Юрче крутись, Большевичка, юрче...

И тетя Настя крутилась—аж пар из сапог.

Глаз у Василия Васильевича был сметливый, ничего от него не ускользало. В конце дня бригадир непременно скажет:

— Хорошо ты сегодня меня, Настька, умаяла. Молодец, не забуду тебе этого.

И правда, не забудет. Непременно, бывало, отметит старания подсобницы принародно.

А один раз у тети Насти с Василием Васильевичем вышла забавная побасенка. Был у бригадира обычай: всякое дело, большое, малое ли, если оно касается всех, а не его одного, со всеми и обсуждать. Рассядутся прямо на лесах и судят-рядят. И вот как-то перед октябрьскими праздниками сидят решают, кто из бригадников какого поощрения достоин: чью фамилию в доклад для общего собрания стройуправления представить, кому благодарность объявить, кого подарком наградить...

Парамонов поднял руку, сказал:

— Предлагаю подсобницу Настасью записать на премию—десять процентов жалованья...

— Мало!

Василий Васильевич повернулся на голос и удивился немного—сама Настасья. Подумал: а ведь и верно, покусился. С охотой добавил:

— Пятнадцать процентов.

Подсобница опять:

— Мало!

После короткого раздумья и уже с меньшей охотой бригадир сказал:

— Ежели другие поддержат, можно и двадцать.

— Все равно будет мало!

Василий Васильевич ерзнул брезентом штанов по доске, бросил едко и с раздражением:

— Предлагаю представить Настасью к Почетной грамоте.

— Вот это по мне! Прямо совсем разлюли-малина.

Парамонов ударил себя ладонью по коленке.

— Ну, Настька!—засмеялся.—Ну Большевичка, язви тебя!..

Тётино Настино рассуждение простое: премия, деньги—почет, конечно. Но ведь на пятерках, десятках не обозначено, что они—премиальные: всегда и всем выдают одинаковые. А потом, деньги из дому ушли, почет унесли. Любая же грамота, она—навечно. К примеру, приехал племянник, глянул вот на стену и сразу ему видно, как жизнь прожила, чего стоит его родная тетя. Что на стене, это еще не все, добрая стопа в комодке лежит. И их можно показать, кому интересно...

Мне было интересно, пересмотрел всю стопу грамот из комоды и остался горд за тетю—заслуживала она прозванья Большевичка...

А потом, как я уже говорил, тетя Настя стала Капитаншей—после одного случая, когда она, выйдя на пенсию, устроилась охранницей в ВОХР. Постом ее был контрольно-пропускной пункт базы какого-то снаба—тетя и тогда с трудом выговаривала его название, а теперь и вовсе позабыла. База находилась в самом Саратове. На троллейбус в Энгельсе села, через Волгу по мосту переехала—и на месте. Обязанностью ее было контролировать, кто что вывозит, да открывать-закрывать ворота. Все вроде просто. Однако поначалу была морока с пропусками. Возьмет бумажку с зеленой полосой по диагонали, сличит с образцами подписи, написанный номер с номером на машине, а вот какой груз обозначен, не всегда могла разобрать. Дядя Коля мал-мал подучил, и дело пошло. Хорошо пошло, как положено. Правда, нет-нет да и приходилось делать неположенное. Бывало, звонит директор базы:

— Сейчас подойдет такая-то машина, так ты ее выпусти.

Тетя Настя на это: без документов не положено. Директор начинает подольщаться, сестрицей называть, Анастасией Петровной навеличивать, посулы суливать, как смола к пальцу липнуть. А самому, чувствуется, так и хочется волком рыкнуть, но—не его подчиненная: может ведь и взбрындить.

— Открой воротца, родная, мы ж все люди...

И тетя Настя не устоит, плюнет про себя—шут с тобой, ты тут начальник, тебе и отвечать—и откроет ворота. Однако раз от разу все больше мучила совесть тетю Настю, все больше подымалось возмущение против директора и его блатных, а еще больше против себя, своей уступчивости.

И вот однажды вкатила на территорию базы черная блестящая «Волга», а за ней следом грузовик. Тетя Настя заметила: в «Волге»—впервые живьем увидела—высокий областной начальник, которого часто показывали по телевизору, про которого писали в газетах, говорили по радио. И о котором часто люди говорили промеж себя. Всякое говорили...

Через короткое время позвонил директор базы. Против обычая не попросил, а приказал:

— Куликова, сейчас подойдут легковая и грузовик. Пропусти. Да смотри, без глупостей...

Сказал так и положил трубку, не дожидаясь ответа вахтерши, будто она тут так себе. А она при деле, при своей должности, которую обязана исполнять по всем правилам, по закону...

И тут подкатили «Волга» и грузовик с катером в кузове. Тетя Настя на «Волгу» никакого внимания, ровно ее и нет. Подходит к грузовику и шоферу:

— Ваш пропуск.

Шофер со значением кивнул на «Волгу», дескать, ты, бабка, знаешь, кто там сидит?

— Ничего не знаю. Ты везешь груз, ты и показывай бумагу...

Вдруг голос сбоку:

— В чем дело? Немедленно откройте ворота!

Тетя Настя повернулась и очутилась лицом к лицу с высоким областным начальником. По чину он высокий, а роста обыкновенного, даже чуть пониже среднего. Ухоженный, хорошо пострижен. Тете Насте почему-то особенно запомнилась стрижка высокой начальственной особы: гладкая и ровная, прямо волос в волос. И, запомнилось, выбрит чисто, кожа лица нежная, матовая. И поэтому чиновная голова казалась ненастоящей, кукольной какой-то.

— Предъявите пропуск, тогда и открою,— сказала тетя Настя по-доброму, вежливо.

Областной начальник исподлобья осмотрел охранницу снизу вверх, насупился:

— Ты кто такая?—спросил, будто и рассмотрев тетю Настю, не видел и не понимал, кто она.

Конечно же, и видел, и понимал. И тетя Настя тоже понимала, что вопрос его вовсе не вопрос, а уловка сказать, напомнить: ты никто, тля, а я аж вон какой чин. Такие вопросы всегда оскорбляли и унижали тетю Настю. А если, рассуждала, ее или какого другого человека судьба так сложилась, что он не стал никаким чином? А если у человека даже и нет стремления к чинам и должностям (да их, должностей, на всех-то и не хватит никогда, значит, надо кому-то и в простых ходить),— то что, всяк, кто хоть чуть повыше званием, тот и будет всю жизнь его, простого-рядового, толкать да помыкать? А разрядки на людское достоинство и честь для него нет? Рассуждения свое тетя Настя считала верным, но разве ж кому ты, опять же простая, без чина, докажешь? И от бессилья к горлу подступал ком, хотелось исчезнуть насовсем или вдруг, как в сказке, обратиться тоже чином, да гораздо выше того, кто изгалялся над ней—пусть хоть утрашится, коль не умеет понять... Вот и теперь к горлу тети Насти подступил тугой ком. И очень, аж до зуда в пятках, захотелось обратиться кем-нибудь много выше этого вы-

сокого областного начальника да рыкнуть: «Народ-то вон чему учишь, вон куда зовешь, а сам, негодник ты этакий, что делаешь?!..» И пусть бы у него ноги задрожали да отсырело бы промеж них и чтоб попятился он от нее, как когда-то пятился от Пирата Иван Корнеев, а она посмеялась бы—не в руках посмеялась, а открыто. Вот это была бы настоящая разлюли-малина! Но на волшебство-сказку надежды не было. А хоть чем-то возвысить себя и посмеяться очень уж хотелось, и она помимо своей воли и рассудка, движимая лишь досадой и злорадством, бросила на кон все, что имела:

— Кто я? Честный человек. А еще,— тут она немного возвысила голос и повыше подняла голову,— а еще — капитанша я. Мой муж капитаном воевал и остался изувеченным. Или этого мало тебе?—тоже перешла на ты: если уж окунулась по уши, то и маковку туда же.

Конечно, для высокого чина этого было мало. Так мало, что и слов не стоило. И он ничего не сказал, только в брезгливой усмешке скривил губы. Тетя Настя и сама понимала: не тем козырем бить надо такого противника, но дороже мужа-инвалида и своей чести у нее на этом свете больше ничего не было...

Дальше события развивались в полном согласии с печальной народной мудростью: коли ты горошина, то с котлом не бейся. Прибежал запыхавшийся, с вытаращенными глазами директор базы; живым духом, ровно на метле, примчался самый главный начальник ВОХРа; тут же разоружили—отняли карабин—строптивную охранницу и объявили ее уволенной. Все сделали быстро, четко, без лишних слов и проволочек—без дуракратизма, как говорит тетя Настя.

Слух о ее дерзостном поступке моментально разнесся по Саратову и Энгельсу, и через несколько дней в детском доме, куда она пришла устраиваться техничкой, ее приняли с почетом и уважением—уже как Капитаншу.

Когда по телевизору показывали высокого областного начальника, дядя Коля трюнил над тетей Настей:

— Да ты поласковой гляди на него—все-таки крестный он твой...

Потом крестный чего-то перестал мелькать в телевизоре. Кто говорил, что его забрали в Москву на повышение, кто, наоборот, уверял, что высокий областной начальник теперь занимает небольшую должностишку в отдаленном районе, а кто отметал и то и другое и доказывал, что за нехорошие дела высокий начальник угодил в места не столь отдаленные. Кому верить, кто говорит правду, понять было невозможно. А знать ее, правду, все-таки очень хочется. И дядя Коля вспомнил стародавнее народное поверье, бытовавшее на его родной Смоленщине: если бросить башмак за ворота, то куда он носком ляжет, туда и пролег путь загаданного человека. Отыскал старую истоптанную туфлю и бросил. Бросить-то бросил, а вот поглядеть, куда ее носок показывает, не успел. Большой приятель дяди Коли и еще больший проказник Тобик, соседский пес, туфлю в зубы—и деру. Поэтому теперь, когда, случается, кто-нибудь между прочим вспомнит о тети Настинном крестном и задастся вопросом: «Так где же он сейчас?»—ему с улыбкой отвечают:

— А пес его знает...

Дядя Коля был у тети Насти вторым мужем... Впрочем, не обойти мне молчанием и первого. Правда, тетя не очень-то любит вспоминать его. Однако, судя по ее обрывочным фразам о первом своем суженом, был он по натуре своей человеком слабым, безвольным и, как тонкое одинокое дерево на юру, не мог противостоять испытаниям судьбы. Тетя Настя потому и пошла за него, что хотела затулить его собой, поддержать, стать посохом. Но—репа просом не зацветает. Что было доброго к нему—скоро размызгалось все, одна жалость осталась. Можно ска-

зять так, ни за что отдала ему своих лучших одиннадцать годочков.

— Как его звали-то?

Тетя Настя вяло махнула рукой.

— Не стоит он мужского имени. Даже самого зазорного. Рохля—вот и все название ему.

Однако вот что странно и непонятно: когда началась война и мужики кто по призыву, а кто и добровольцами пошли на фронт, рохля тот, бывший десятником на кирзаводе, спроворился и выхлопотал себе бронь. Это от страху убиту быть, объясняет тетя Настя, от страху и бык пташкой взмывает.

— Дезертир,— сказала ему жена.

Разобиделся:

— А у меня вот документ. Бронь по всем правилам.

— Я и говорю: дезертир, за бронь схоронившийся.

В сорок втором тетю Настю мобилизовали на рытье траншей и окопов под Сталинградом. Прощаясь со своим рохлей, говорила ему, не скрывая издевки:

— Ну, мужик, я поехала воевать, а ты домовничай: за котом присматривай ладом да рукавички мне вяжи.

Рохля не слышал издевки, всерьез запоминал наказания жены, кивал, размазывая ладонями слезы по щекам и шваркал носом. А тетя Настя вдруг почувствовала легкость в душе: теперь и какие были угольки—истлели, одна зола осталась от всего, что связывало ее с этим человеком.

Под Сталинградом при бомбежке тетю Настю контузило. Хоть и не шибко, а три недели в прифронтовом госпитале провалялась. После поправки могла ехать домой, но как уедешь, когда вон сколько их тут, раненных да увеченных войной, разве медперсонал за всеми доглядит. Один командир, весь забинтованный, шибко стонал, метался в бреду и все погонял лошадей:

— Но, милые! Ну, пошли... Рысью, рысью!

Плохая примета: если больной бредит лошадьми, зна-

чит, смерть его близко, вокруг бродит, а он чувствует ее и сидит, сбежать от нее. И тете Насте захотелось подмогнуть ему, отвести костлявую. Дневала и ночевала возле его изголовья, как родного брата обихаживала. И отошла от командира смерть, стал оклемываться помаленьку. Когда пришел в рассудок, долго с удивлением смотрел на тетю Настю, спросил слабым-слабым голосом:

— Долго ты тут сидишь?..

Тетя Настя легонько погрозила ему пальцем, мол, нельзя тебе разговаривать. А сама улыбнулась от радости: живой и слова уже говорит. Командир тоже улыбнулся, но как-то конфузливо, виновато.

— Умаялась ты возле меня...

Тетя Настя прикрыла ему рот ладошкой.

— Не смейте так...

Командира звали Николай Иванович Куликов. Родом из Смоленской области. Кадровый военный. Служил на западной границе. Была жена, две девочки. Распрощался с семьей в первые часы войны. А еще через несколько часов эшелон, в котором ехали жена и дети, разбомбили фашистские самолеты...

От врачей тетя Настя узнала, что капитана Куликова комиссуют подчистую, как инвалида. И тогда она отписала своему рохле-домоседу: считай, что мы с тобой разведенные. Еду с новым мужем, он израненный в бою за Родину и за тебя тоже, а ты человек вполне здоровый телом, так что уступи ему квартиру...

Медсестра, которой она это отдиктовала, спросила:

— Послушается?

— Он знает: если уж я замкнула, то и ключ в колодец...

Сорок с лишним лет прожили мужем и женой тетя Настя с дядей Колей. Незадолго до смерти дядя Коля подсчитал: из этих сорока от силы восемь лет он был ходячим, остальное время лежал—дома, в больницах, в московских госпиталях. Был он, что называется, изрешечен осколками снаряда. Иные раны со временем затянулись,

инные притерпелись, но одна осталась постоянной ему до­кукой. Шейный позвонок у него был поврежден так, что при неосторожном, чуть резковатом повороте головы она поникала, как надломленный колос. И чтобы вернуть ее в нормальное положение, требовалась помощь врачей. Дядя Коля старался быть осторожным и осмотрительным. Когда жили в отдельном деревянном домике, сконструировал себе универсальный верстачок, на котором можно было делать все: и слесарничать, и столярничать, и сапожничать, и пилить дрова лучковой пилой...

— Делает, делает чего—отдых себе даст: читает или что-то пишет в тетрадке,—рассказывала тетя Настя.— Слева у него всегда книжка была, а справа—тетрадка.

— А что он писал-то?

— Разные, какие приходили в голову, мысли.

— Где эти тетрадки, тетя? Покажите,—я даже встал от нетерпения увидеть тетрадки.

Тетя Настя горестно развела руками:

— Дак вот... Когда бабы пришли обрывать его, покойного, да в дому прибирать, книжки стопкой сложили за шкафом, а тетрадки—в мусоропровод спустили. «Чего наделали-то?—потом говорю.—Дорогие они мне». А бабы: мол, ты ж и читать-то не умеешь. Хорошо хоть книжки оставили. Коля велел отдать их Геннадю Ивановичу, врачу. Книжки какие-то дорогие были. Геннадий Иванович все просил уступить ему, большие деньги давал. Коля не соглашался. Ты их и так возьмешь, только чуть погодя... Недели через две после похорон позвонила я Геннадю Ивановичу, мол, приедь за книгами. Все, какие были, десятка, может, два отдала ему. Принял, поблагодарил и спрашивает: а можно мне, Анастасия Петровна, я здесь, у вас, тетрадки Николая Ивановича посмотрю? Я ему: так, мол, и так, не доглядела, тетрадки бабы в мусоропровод бросили. А он: что же они сделали. Вот эти книжки с трудом, но можно найти и прочитать, а записки Николая Ивановича уже не найти. А в них ведь душа человека

осталась, раздумья его—ведь муж ваш интересно думать умел.. Поохала я вместе с ним да что толку-то—дело уж сделано, назад не воротишь... Погоди-ка, сынок, когда я тебе свои грамоты из комода доставала, был там листочек, Колей исписанный...

Глянул я на листок, на ровный, немного ломаный почерк и вспомнились письма, которые присылал дядя Коля,—родителям отдельно, мне—будто взрослому, самостоятельному человеку, отдельно. То были хорошие, веселые, иногда лукавые письма. В одном из них дядя Коля писал, что недавно завели щенка. Назвали Степкой. А он, Степка, называет дядю Колю папой, тетю Настю мамой. Когда подрастет, еще многое научится говорить и делать. А породы он самой ценной—чистых кровей дворняга. Дальше дядя Коля советовал мне тоже завести щенка и научить его говорить. У нас в селе не было ни одной собаки, которая умела бы хоть что-то говорить, но и дяде Коле я не мог не верить. Решил, что никто не учит, вот они и не говорят. И завел себе щенка. Тоже дворнягу и назвал тоже Степкой. Однако или он был большой лентяй, или немыть от природы—как ни бился с ним, ничего не говорил, хотя по глазам видно было: все понимает. Так я и написал дяде Коле. На что он мне ответил: правильно, и наш Степка говорит глазами, движениями, покачиванием хвостом... А в другой раз дядя Коля притворился незнайкой и спрашивает меня: почему знаменитые сибирские пельмени называют пельменями? Помнится, я ответил ему что-то длинное и, на мой взгляд, вполне убедительное. Однако дядя Коля объяснил в следующем письме «пельмени» гораздо короче: слово это удмуртское, если перевести его на русский, то получится—«ухо-хлеб». Я изумился: а ведь и правда пельмени напоминают ухо!.. Примерно такой была вся наша с ним переписка. А на листке, который мне подала тетя Настя, было написано вот что:

«137. Умную речь может услышать только умное ухо.

138. Хотим море переплыть, но так, чтоб лодка не кач-

нулась. Баланса во всем хотим. А ведь баланс—результат качания.

139. Вроде бы человек, у которого нет неприятелей — совершенный человек. На деле же это человек без своих взглядов и убеждений. Когда есть **свои** твердые взгляды и убеждения — обязательно есть и неприятели.

140. У настоящего борца первая битва всегда с самим собой — с трусом в себе, угодником, подлецом...

141. Японская пословица: за красивые слова налогов не берут. В Японии, может, и не надо, у нас же ох как хорошо было бы.

142. Притворяемся, что достигли единомыслия. Хорошо, что только притворяемся: единомыслие—смерть.

143. Сегодня днем задремал и привиделся мне сон. Идут люди гурьбой, друг дружку перебивают, кричат: «Прекрасно!», «Слава нам!», «Ура!». За криками не заметили, как вляпались не то в дерьмо, не то в трясину по щиколотки. Не смутило их это. Все равно: «Отлично!», «Добро!». А сами уже по колена в жиже, вот уж по пояс доходит, а они то же самое: «Хвала нам!», «Так держать!». Не утерпел я, говорю: «Чему радуетесь-то? В болото же врюхались...» Слушать не захотели. «Сам ты,—огрызнулся,—болото. Вперед, ребята!» А жижа по самое горло уже. Все равно — ура! Наконец окунулись с маковкой, пузыри пустили. Шабаш будто бы. Нет, высунули руки, показывают большой палец... Страшно мне сделалось. От страха и проснулся.

144. У всякого народа есть свой родной язык. Но зачем еще второй—эзоповский?

145. Ложь ложью не убьешь.

146. Вернее всех разочаровывается тот, кто разочаровывается последний».

147. Ведь закон, что $2+2=4$. А мы пишем столько, сколько надо...»

Умер дядя Коля в феврале восемьдесят второго.

Однажды солнечным утром почувял он вновь ее, кост-

...любу, от которой уже ни на каких лошадях не ускакать. Попросил тетю Настю побрить его, помыть, одеть в то, что было, как водится, заранее приготовлено на этот случай.

— Много ты, Настя, возле меня сидела, присядь еще разок.

Тетя Настя присела. Дядя Коля, как тогда в госпитале, долго смотрел на нее и сказал те же слова:

— Сидялась ты возле меня...

Тетя Настя и в этот раз легонько приложила к его губам ладошку. Дядя Коля благодарно поцеловал ее.

— Не смей так говорить. Мне было хорошо с тобой.

Дядя Коля с горечью усмехнулся:

— Прямо разлюли-малина.

— Да, разлюли-малина. Потому что ты—настоящий человек.

Потом тетя выслушала пожелания дяди Коли, советы, наставления. Обнялись, распрощались.

— Теперь принеси стакан воды и поставь на подоконник—на моей родине так делали.

Тетя Настя поднялась, пошла на кухню. Возле двери обернулась. Дядя Коля улыбнулся ей, мол, ступай, смелее ступай...

Все время была спокойная, собранная, а тут разволновалось сердце, затряслись руки, не там стакан стала искать, никак кран открыть не могла... Когда вошла с водой, дядя Коля уже скончался и лежал безмятежный и кроткий...

Не люблю расставаний. Особенно когда только-только стал узнавать человека, влюбляться в него. С самого утра горюнился. А тут еще тетя Настя призналась, как масла в огонь подлила:

— Шибко буду скучать по тебе...

Значит, будут слезы, значит, придется успокаивать, уговаривать...

Но ничего этого не было. Пока ждали троллейбус, тетьа горюнилась о том, что и правда, круто она обошлась тогда с Жориком. Но как было иначе? Пусть попереживает—это только на пользу ему. Вот ведь несчастье какое эта водка. Не пей, сынок, и другим не вели.

Подошел троллейбус, обняла меня.

— С богом, сынок. Да пиши почаще.—Ухватила за рукав, шепнула:— Не конфузь меня: пушай, говорю, сперва старики войдут... А я сейчас заверну к нему, к Жорик-у-то. Погляжу, что он там делает. Может, уж совсем в загул ушел... Ну, чего стоишь-то, отстанешь,—подтолкнула меня, повернулась и, опираясь на клюку, бодренько зашагала по тротуару. Поравнявшись с ней, я махнул из окна рукой. Она в ответ кивнула, мол, счастливого пути, езжай. Будто я снова отправился не дальше, как на ту сторону Волги, в Саратов, по какому-нибудь обыденному делу, и не успеет она прийти от Жорика и чай согреть, как я уже вернусь.

Потом прислала мне тетя Настя вот это письмо:

«Ты человек грамотный и умный—вот и рассуди меня тёмную и бестолковую. Что я удумала-то напоследок годов своих. Ни за что не догадаешься. Кавалер у меня объявился и зовет замуж. Только ты погоди ругать меня, сначала выслушай. Значит, человек моих лет, тоже фронтовик, раненый был, одинокий, как и я. Знаю его давно—работящий, не пьет, не курит—одним словом, настоящий человек. Это мое рассуждение. Да ведь и об ком-то заботиться, посохом кому-то быть надо—на то и живем, на то и рождены мы. Ну, а теперь скажи ты слово. Если нет твоего одобрения, то выкину эту блажь из головы. А если советуешь, то благослови меня с Леонидом Дмитриевичем. Главное, человек он хороший... Дальше

сообщаю тебе, что Жорик ведет себя хорошо. Что будет дальше, не знаю, того, наверное, и сам Господь не ведает. Одним словом, поглядим...

В ответном письме я благословил, как умел, тетю Настю и Леонида Дмитриевича на супружество. И теперь под диктовку тети Насти пишет мне дядя Леонид. Кое-что добавляет от себя и о себе. Похоже, так и есть—хороший, настоящий он человек...

1986 г.

ТРИПТИХ

1

Лет сорок назад Владимир Быкасов закончил школу ФЗО и стал каменщиком. В строительной бригаде быстро и легко освоился и даже стал ее авторитетом, а потом и властителем дум, потому как был не хлюпиком, и не каким-нибудь размазней, а парнем разбитным, рассудительным, смекалистым и до работы жадным. Всякое изреченное им слово имело здравый смысл и, значит, вес. А главное, бригадники слышали в его словах ту нехитрую правду, которая обитала и в их заскорузлых душах, но которую выразить они не всегда решались и не очень умели. Когда, бывало, бригада вынужденно бездельничала по той причине, что не подвозили в срок стройматериалы, Быкасов, сидя нога на ногу на лесах, зло жевал папиросу и рассуждал:

— Вот все мы, допустим, кто? Сознательный класс, гегемон. Плечи стройки мы. Так? Так. А которые там?— кивал в сторону конторы.— Там трутни. На каждом нашем мастерке сидят штук по несколько и наедают мозоли социализма такие, что дырок на ремне не хватает,— при последних словах Володька вставал, втягивал живот и картинно, с нарочито суровым выражением лица подтягивал медленно сползающие штаны.

Бригада смеялась и охотно, с пафосом поддерживала Быкасова:

— Уж что, Володька, верно, то верно: конторским нечего тужить об том, как прожить.

Бригадир дядя Гриша Коровин, человек пожилой, мягкого нрава, настойчиво возражал:

— Однако, парень, учитывай и то, что они люди с образованием. Стало быть, им можно и не печалиться.

— Как это им—можно? У нас же кто не работает, тот—что, а? Не лопают,—басисто и с таким пылом отвергал довод бригадира Быкасов, ровно бы не только те, кто засел в конторах, а и дядя Гриша тоже не работал, но—лопал.

Если в такой час безделья на объект вдруг навевывалось какое-нибудь начальство—прораб, главный инженер или даже сам начальник стройуправления—мастер с бригадиром робко, будто виноватые, жаловались им, мол, вот опять баклуши бьем, уж вы б нам порадели, пособили...

Володьку Быкасова, который поодаль месил резиновыми сапогами грязь и жевал папиросу, это нервировало, выводило из себя.

— Ну будто казанские сироты, мать вашу!—не выдержав, выплевывал в грязь окурков, делал несколько широких решительных шагов, отстранял никудышных дипломатов, набычивался и басом—а он у него был густой, угрожающий—вбивал в начальнические уши:

— Диплом в вашем кармане—дело, конечно, хорошее. Но ведь, как в народе говорится, надо ж и мышей ловить—хоть изредка, ради интереса, иначе нюх потеряете... Не подумайте, я не лично для себя, мне, холостяку, много не надо, на простокваше с хлебом перебыюсь, а вот у товарищей моих—семьи, детишки, которым нужны рубашки и штанишки... В общем, надеюсь, вы их положение... вернее, положение их величества рабочих поняли. Тогда договорились: вы нам, как положено, беспрекословно и бесперебойно—кирпич, раствор, пиломатериалы и все прочее, а мы, как папы карлы, упираемся рогом и даем высокий процент выработки. В итоге, и вам, и нам хорошо. Ну, а в случае чего—сразу говорю, чтоб обид потом не было—разговаривать станем в другом месте и, понятное, покруче...

Действовало. Со следующего же дня бригада бесперебойно обеспечивалась всем необходимым—работа на объ-

екте кипела. Довольные бригадники во время коротких перекуров говорили с веселым восторгом:

— Ну ты, Володька, прямо—танк!

— А что с ними чикаться. Принцы, что ли,— безо всякого важничанья отвечал на это Быкасов.

Стройка есть стройка. Случалось, обеспечение опять срывалось и бригада опять вынужденно бездельничала. Рабочие с надеждой взирали на Володьку Быкасова. Володька долго и сосредоточенно думал и жевал папиросу. Наконец говорил:

— Айда все за мной...

В приемной управляющего трестом, окатив покрашенную пигалицу-секретаршу едким взглядом серых глаз, спрашивал:

— Петренко на месте?

— У Василия Васильевича совещание,— оробев, отвечала секретарша. Быкасов оборачивался к сгрудившейся за его спиной бригаде, кивком на черную дерматиновую дверь повелевал: все за мной. И решительно открывал дверь. Секретарша, поднявшись со стула, лупала глазами, немо наблюдая, как облепленные грязью сапожищи беспардонной оравы топчут, роняя ошметки, чистую ковровую дорожку, ведущую к столу Василия Васильевича.

Не видя в кабинете никого, кроме управляющего, изумленного таким неожиданным явлением народа, Володька Быкасов, глядя на него исподлобья, на ходу сурово басил:

— Извиняться за вторжение не будем, потому как мы не по личному делу, а по большому государственному. Как хозяева этого самого государства заявляем: если лично вы будете управлять стройками так же, как сейчас, то никакого коммунизма мы не построим. Но мы, бригада Коровина, хотим его строить! С воодушевлением и потому пришли требовать, не христарadniчать, а т-р-ребовать...

И Быкасов выкладывал требования бригады.

Управляющий был до крайности возмущен наглым поведением каменщика, но выразить своего возмущения не мог—вон в какой демагого-политический фантик все завернул, ме-р-р-завец!..

В общем, не успевала бригада вернуться на объект, как подвозилось все, обеспечивающее фронт работы.

Но где гарантия, рассуждал Володька, что впредь никаких срывов не будет? Такой гарантии не было. А потому Быкасов, хоть и был большим нелюбителем всяких говорилен, стал ходить на разные собрания и непременно брал слово:

— Я скажу просто, по-рабочему...

И какой бы вопрос ни стоял на повестке дня, держал речь об одном—о снабжении бригады, завернув свои доводы в тот же демагого-политический фантик, разрисовав его самыми высокими словами, произносил которые самым низким жестким голосом, то и дело бросая обличительные взгляды в президиум. В заключение вопрошал:

— Гарантии будут, чтобы наша, Коровина, бригада победно выполняла призывы партии? Сегодня таких гарантий нет, граждане руководители. Бригада требует гарантий!..

Его речи—да, собственно, всякий раз это было повторение одной и той же речи—все уже знали наизусть, а он упорно брал слово и требовал от начальства гарантий. И в конце концов получил их. Начальство убедилось, что хам, горлопан Быкасов—это тот самый лом, против которого нет приема, и—сдалось: будут тебе гарантии, будет для твоего объекта все и всегда, только не горлопань.

«То-то ж»,—сказал про себя Володька.

И дела бригады Коровина стремительно пошли в гору.

Кстати, бригаду все давно уже называли его, Быкасова, именем, хотя бригадировал мягкохарактерный дядя Гриша Коровин. Но вот подоспела пора, и дядя Гриша засобирался на пенсию. Сказал:

— Давай-ка бери бразды в свои руки, Владимир.

Володька на это:

— На кой они мне, бразды. Да и кто я? Зелень. Есть другие, постарше, поопытнее.

— Ты, парень, не прибедняйся,— стали урезонивать другие.— Молодость не порок. Знамя мы держим? Держим. На Доске почета висим? Висим. Да и вообще. И все благодаря тебе. К тому ж вечернюю школу закончил, разные книжки, брошюрки читаешь—вполне грамотный, словом. Так что тебе бразды. И будем мы за тобой, как за каменной стеной. .

Володька особо не куражился—принял бразды.

2

Дела в бригаде продолжали идти лучше не надо. Но шло и время. Исподволь и незаметно стал Владимир Быкасов меняться. Что до работы, то, как и прежде, оставался до нее жаден, семью потоми омывался. Но и других до того же доводил. Дисциплину установил железную. Те, кому она приходилась не по нраву—путь вам лугом. И это, конечно, правильно, понятно это. Но не могли понять бригадники другого. К примеру, раньше, до бригадирства, Быкасов ни во что не ставил мастера Николая Гончарова, в глаза и за глаза называл его не иначе как Пупсиком. «Пупсик, а ну подтащи ко мне поближе окоренок, все равно ж так стоишь...», «Пупсик, давай махнемся рукавицами—твои новые мне больше нравятся», «Закрывать наряды, Пупсик, закрывать станешь, так не забудь спросить у меня, что писать»... Не сказать, чтобы Гончаров был человеком, из которого веревки вяют, но перед хамством Быкасова, обладавшим каким-то гипнотически воздействующим на волю свойством, пасовал и подтаскивал окоренок с раствором, менялся рукавицами, закрывал наряды под диктовку Володьки. Теперь же Быкасов стал называть мастера не иначе как Николаем Емельяновичем, хотя были они почти ровесниками, не понукал им, не ха-

мил. Но и не заискивал. В отношениях с начальством более высоких рангов произошло то же самое: Быкасов перестал дерзить, намекать на нахлебничество, корить за образованность, бас его довольно поослаб в разговорах с ними, исчезла нахрапистость, но и не появилось ни малейших признаков лести. Если возникало какое-нибудь щекотливое, деликатное ли дельце, Быкасов предлагал чинно отойти в сторонку и потолковать один на один. Бригада же бывала в претензии: есть разговоры не для всякого уха. Претензий тем более не могло быть, что после уединенного разговора бригадира с начальством щекотливое дело касалось всей бригады, быстро и легко разрешалось. На разные собрания-совещания Володька реже ходить не стал, но слова на них почти никогда не брал, никого не распекал, ничем не страшал—смирно сидел и мотал на ус то, что говорили другие.

Бывало, кто-нибудь из каменщиков сообщал бригадиру:

— Ходят слухи, что опять нам норму подымут. Сидят тито в конторах, отращивают мозоли социализма и творят, что задумается.

Раздумывая над сказанным, Володька пожевывал папироску и внимательно разглядывал живот каменщика, словно оценивал его собственный «социализм», сухо спрашивал:

— Что у тебя в правой?

— Мастерок. А что?

— А вот раствор и кирпич,—наставительно выговаривал бригадир.—Делай дело и думай про сегодняшнюю норму, а завтрашняя—не твоя забота.

Каменщик нагибался за кирпичом, говорил с разочарованием и укором:

— Зельем каким, что ли, они тебя опоили.

— Кто?

— Да они, у которых дырок на ремне не хватает.

Быкасов ничего не возражал, только насупливался и

работал с еще большим проворством и жадностью.

Не тем, явно другим становился Володька. Нет, никаких кровных обид на него у рабочих не было, но из простого людского любопытства каждому хотелось знать: что же такое с человеком происходит? Соглашались в одном: взрослеет и, значит, ломается характер, как ломается голос у юнцов.

Однако полного удовлетворения таким ответом не было—мешало удовлетвориться что-то неразгаданное в бригадире.

А между тем Быкасов, еще недавно на чем свет стоит костеривший партийцев, неожиданно написал заявление о вступлении в партию. Чуть погода поступил в строительный институт, закончил и стал прорабом. Вот тогда-то его бригадники все разгадали и поняли. Владимир Иванович Быкасов вновь забасил. Жестко и зычно. Но с той разницей, что если раньше его бас был направлен снизу вверх, на конторских «социалистов», то теперь—сверху вниз. Мастер Николай Гончаров вновь стал у него Пупстиком, со всеми, как говорится, вытекающими, со своими бывшими бригадниками Быкасов обращался так, будто целых одиннадцать лет его ничто с ними не связывало—как и вообще рабочих, называл бывших товарищей сваями.

— Надул и предал, паршивец...

Что тут еще скажешь, предал, конечно. В годы бригадирства у Быкасова ломался не только характер—ломалось мировоззрение.

Те, кто был над ним и кого в былые времена он одолевал своей нахрапистостью, тоже все узрели и оценили в Быкасове и предрекли:

— У этого дела пойдут...

3

Минули многие годы.

Сегодня Владимир Иванович Быкасов управляет строительным трестом, тем самым, которым управлял Петрен-

ко, перед кем Володька-каменщик учился сочинять демагогические фантики. Владимир Иванович совсем сед, на маковке плешина, рыхл, живот переваливается через брочный ремень. А вот голос все тот же, что и в молодые годы — напористо-басист. Вот он гремит на аппаратном трестовском совещании:

Отсюда. Это маразм! Вы не поспеваете за временем. Неужели, растак вашу мать, не видите: народишко-то уросит, оторвется от рук: Ге-ге-мон! Что это за гегемон, который трестом дай-то, предоставь это. С самого же — не спроси... Но ничего совладаем... — последнюю фразу Владимир Иванович проносит в раздумчивости — для себя, а не для подчиненных и делает продолжительную паузу. Подчиненные молча ждут, а он вспоминает не так давнее.

Семеро, что ли, — в общем, вся бригада плотников — написали куда-то высоко и далеко, мол, не столько и не так платят и вообще не те порядки у Быкасова в тресте. Понятно, легла та телега на его же, Быкасова, стол. Кого всегда не любил и не жаловал Владимир Иванович, так это подобного рода писателей — от дела, мерзавцы, отрываю. Приказал всю бригаду вызвать в приемную и сесть по одному к себе на ковер выдергивать. Мудрецопыт учит; надо только по одному, как редьку из грядки, чтоб никаких свидетелей.

А понимаешь ли ты, милый мой, что я тебя за твое писание могу в бараний рог согнуть, могу уволить, а захочется, то и в тюрьгу законопачу годочка так на два-три.

За что?

— Хо! Как пить дать найду. Да хотя бы, к примеру, за то, что ты шибко курносый. И будет, х-хе, и будет все законно, потому что, скажу тебе по большому секрету, не я закону, а закон мне служит. Уяснил?.. Тогда ступай, скажи, чтоб следующий зашел.

И так с каждым из банды семерых. И всё — можно быть уверенным, что больше никаких произведений сочинять не станут.

А то недавно, когда уже потянули эти самые ветры. Пришел один пожилой с палочкой и с наградами на пиджаке. Кажется, Ерофеевым назвался. Мы с вами, Владимир Иванович, в одной, говорит, бригаде, у Коровина, клали кирпич на кирпич. Может, помните? Вы тогда только-только, а я к той поре уже...

— Вполне возможно. Ты, батя, по какому вопросу-то ко мне?

— Так, говорю, помните ли, с какой мы энтузиазмой и в какой дружбе тот самый кирпич клали. Выпивали только с получки. По четку на брата и—к семьям. А теперь-то что? Внук мой у вас стропальщиком работает, так ведь пропадает парень—на смену и со смены пьяный. И если б только один он. Все суплошь на объекте пьяные. Вы уж извините, я вам, как есть, откровенно.

— Благодарствую. И я тебе откровенно же скажу: пьяница—самая надежная свая на стройке.

— Во, во. Раньше-то, сколько помню, вы нас, рабочих, опорой, плечами державы называли, а теперь сваями кличите.

— А свая, по-твоему, не опора, не плечи всякого строения? Так вот, пьяная свая,—откровенничаю с тобой дальше,—она у меня вот где—в кулаке, хе-хе...

— А если, не дай Бог, случай какой?

— Так в его же, а не в моей крови алкоголь обнаружат.

Поднялся Ерофеев, или как там его, утер глаза платком. Старики, они любители слезу пустить. Эхе-хе, неужели и мы такими станем?..

Или зам главного бухгалтера Хабаров. Не пацан сопливый, а человек в годах, с головой и житейским опытом, вздумал намекнуть управляющему трестом о кое-каких его материальных шалостях. Быкасов сказал ему ровным баском:

— Не с огнем ли хочешь затеять игру, чудо-юдо? Вдохновился тем, что первого секретаря горкома партии Ива-

«Музымича Ковшова освободили «в связи с уходом на пенсию»? А кто его кресло занял? Витька Самусенко. Витькой он для меня был, Витькой и останется. Мужик ~~бы~~ башковитый, соображай. Или нацелился действовать по отраслевой линии? С Богом! Но знай... Кстати, какая там у нас цифирь за прошлый месяц?.. Правильно, как всегда, хорошая. Так вот, те, на кого ты уповаешь, за счет моей цифири пьют, едят, наживают авторитет и все прочее. И потому считают своим долгом благоволить мне и пограбить. Нужен я им. Именно я. Понимаешь? Дальше ступай и смекай сам...

И все, тишина. По сей день.

Впрочем, сегодняшняя тишина как-то не по нраву Владимиру Ивановичу, неустойчивая она какая-то...

— Ничего—совладаем,— повторяет Владимир Иванович и возвращается мыслями к подчиненным. Жестко басыт:— Гегемон, обращаю ваше внимание, не в меру осмелел. Надеюсь, согласны?..— В ответ ни звука. Оно и раньше так было, возражать управляющему смельчаков мало находилось. Но лица были иные, чем сейчас. Нет, смелости, свободы на них вроде не прибавилось, иначе бы к Владимиру Ивановичу подступил страх: смелость, вернее, сила смелости подчиненных—это тот червь, который источает власть и превращает ее в тлен. Настороженность на лицах, окружающих Быкасова, вот что. Явилась мысль: а не есть ли эта настороженность знак того, что в его людях уже посеяны личинки тлетворного червя?.. Бред какой-то!—отгоняет Владимир Иванович шальную мысль и чувствует, что устал, хотя еще только начало рабочего дня.— Скажете, реформа? Тогда скажите и другое: с чем это блюдо едят? А?.. Нет, я, как и все, двумя руками за нее, но вы мне ответьте... Молчите? Что ж, это тоже вразумительный ответ. А поэтому все свободны. Шубин, останься.

Люди бесшумно вытекают из кабинета. Петр Шубин

садится за приставной столик, он весь к услугам управляющего.

— Слушаю вас, Владимир Иванович.

— Значит, Петруха, бери Вальку с Надюхой и езжайте заряжать.

— Будет сделано, Владимир Иванович.

— Я часам так к восьми подкачу.

— Хорошо, Владимир Иванович.

— Ступай.

Шубин подымается и уходит. Быкасов, провожая его глазами до двери, думает о нем. Пинал Петруха воздух на лесоторговой базе у тетки, Володьки Туркашина. Володька сплавил его в РСУ под крыло Бояркина. И там Шубин груши околачивал. Бояркин упросил Владимира Ивановича взять Петруху к себе, характеристику ему дал: глуп до святости, но исключительной, прямо собачьей преданности парень. Оформил Быкасов Петруху по снабженческой части, а круг обязанностей очертил иной— в радиусе себя, управляющего. Правду сказал Бояркин— глуп, как пуп, но—верен хозяину. За эти два качества и любит Владимир Иванович Шубина. За эти же качества до брезгливости презирает Петруху, иной раз даже хочется пришибить его. Но сдерживает себя, потому как любить всевластному Быкасову больше некого. Прихлебателей, блюдолизов вокруг столько, что хоть заслон ставь, но каждый из них хоть с малым, но умишком. А где умишко, там при первой же возможности измена и предательство. Петрушка же—так называет его Владимир Иванович в добром расположении духа—в этом смысле чистая слезинка.

Оставшись один, Владимир Иванович включаетея в работу, жадности к которой у него с годами не убавилось, и потому тащить ему свой тяжкий воз по хорошо укатанной за четверть века дороге больше удовольствие, нежели терзание...

...В половине восьмого вечера Быкасов наконец осво-

бождается от хлопот и—сам за рулем—едет в укромный уголок сибирской тайги, где под красавцами кедрами притаился именуемый турбазой строителей хорошенький теремок с сауной и прочими удовольствиями, украшающими будни и расслабляющими душу и тело.

Поначалу Владимир Иванович и Шубин, раздетые до плавок, сидят вдвоем в небольшом уютном холле за бутылочкой армянского. Владимир Иванович уже дважды лихо крикнул, Петруха же все домучивает первую стопочку—ему много нельзя, впереди все заботы и хлопоты о шефе. Владимир Иванович с удовольствием крикнул в третий раз.

— И как только его, Петруха, коммунисты пьют?

Привыкли, Владимир Иванович. Вы ж сами говорили.

— Верно, всегда так говорю. А кто это придумал?

Шубин напрягает мысль, думает и отвечает:

— Должно быть, народ, Владимир Иванович.

— Народ, говоришь? Кстати, а кто это, по-твоему?

Народ-то?

Шубин опять думает и отвечает:

— Наверное, люди, Владимир Иванович,—и лицо его озаряет наивная преданная улыбка.

— Эх, Петрушка!—Быкасову уже сделалось тепло и благостно на душе и он дружески треплет Шубина по шее.— Простецкий ты человечешко. А сказать тебе, что лично меня в партию завлекло? Никому никогда не говорил, тебе же признаюсь. Есть такой девиз: «Коммунисты—вперед!» Так вот, я его немножечко подредактировал—для себя, для внутреннего, так сказать, потребления, и получилось: «Коммунист ты—вперед!» А?!

Шубин смотрит в глаза шефа непонимающе.

— Да это ж, дорогой, проще простого: у кого в кармане партбилет, тем все попрех прочих, а прочие выстраивайся в порядке общей очереди. Но прошу учесть: коммунист и член партии не одно и то же. Меж ними разли-

ца как... ну, как, скажем, между столешницей этой вот и ножками. Ножки тоже «прочие». Теперь допер?

— Допер, Владимир Иванович.

— Все, что есть прочего,— народ. Или в моем обиходе — свай, то есть ... Продолжай, Петруша.

— То есть основание всякой общественной структуры, Владимир Иванович,— прошлый раз вы так выразились.

Быкасов смотрит на Шубина долгим ласковым и благодарным взором.

— Молодец, правильно запомнил. Люблю тебя, Петруша. Одного.

— Спасибо, Владимир Иванович,— растроганно молвит Шубин.

— А теперь скажи мне вот что ... Только, Петруша, честно. Приказываю,— Быкасов шутливо возвышает голос,— сказать честно, без утайки: почему во всем тресте ни одна душа не смеет мне перечить ни единым словом? Ну?..

Петрушке хочется сказать, как приказано, без утайки, но он не решается—не подвох ли какой, после третьей шеф горазд на разные штучки.

— Совсем честно сказать, Владимир Иванович?

— Я ж тебе, сукин сын, приказал! Говори, сейчас я добрый.

— Если совсем честно, то — боятся вас, Владимир Иванович,— и Шубин на всякий случай съеживается.

После короткого раздумья Быкасов кивает:

— Верно — боятся... А что такое триптих, ты знаешь ли?

— Нет, Владимир Иванович, не знаю. Давайте я вам еще одну,— Петрушка наполняет рюмку шефа и несколько капель добавляет в свою.

— Триптих — это, Петрушка, три части чего-нибудь одного целого. Например, три картины, которые объединяет общая тема.— Владимир Иванович опрокидывает в рот рюмку и крикает.— Уяснил?

— Уяснил, Владимир Иванович.

— Так вот, всякая власть, если она настоящая,— это тоже триптих.

— Лимончик-то, Владимир Иванович, забыли взять.

Быкасов берет с тарелки кружок лимона, незлобиво укоряет Шубина:

— Ты, дурья голова, не перебивай, а—слушай.

— Слушаю, Владимир Иванович.

— Так вот, триптих власти—это первое: страх перед тобой тех, кто ниже тебя по должности; второе: страх потерять тебя у тех, кто выше тебя по должности; третье: **страх в тебе самом потерять контроль над теми, кто под тобой и над тобой.** Вот, Петрушка, что такое триптих власти. А пришел я к этой формуле после сорока лет своей мозговой деятельности. Все!

— Ох, у вас и голова-а-а, Владимир Иванович!—в восхищении произносит Шубин.

— **На свою голову не обижаюсь.** Но скажу тебе такое: **когда триптих власти исправен, голова может отключаться—все само собой, накатом пойдет.** А триптих власти в нашей державе исправен. И вечен, его никакие ветры не расшатают. **Соображаешь?**

Петрушка ничего не соображает, ему не по мозгам такая философия. Однако, если так и сказать шефу, он может обидеться. А если сказать, соображаю, мол, то это будет ложью. А шефу лгать нельзя. И потому Шубин, не отвечая на вопрос, спрашивает сам:

— **Валентину Петровну звать, Владимир Иванович?**

Быкасов не слышит—о чем-то задумался, откинувшись на спинку кресла. Произносит насмешливо:

— Эх, ге-ге-мон! Наивный ты, братец мой...—Подымает рассеянный взгляд на Шубина:—Ты что-то сказал?

— Валентину Петровну, спрашиваю, звать?

— Валюху?—Лицо Быкасова оживает.—На рюмочку, что ли?

— Ну, конечно, Владимир Иванович.— Петрушка не может сдержаться, позволяет себе вольность многозначительно подмигнуть шефу.

— А потом-то что мне с ней делать?— Владимир Иванович также многозначительно и весело подмигивает Петрушке.

— Потом парку поддать, Владимир Иванович, и она вам спинку потрет.

— И все такое прочее. Да? Тогда вели ей явиться. А сам пойдй к Надюхе своей, кобелишко ты этакий,— Быкасов шутя поддает поднявшемуся Петрушке под зад бо-сой ногой и так басисто, с такой мощью гогочет, что Шубину становится как-то не по себе, и он торопится выйти из холла...

1989 г.

ВЕЖЛИВАЯ МУЗЫКА

Николаю Алексеевичу Капишникову

Дело было уже в послевоенное время. Как-то зимой пасечник Максим Савельев, оставив на хозяйстве жену Марину, пошел в рабочий поселок Кандабаш—восемь верст от пасеки—погостить день-другой у родни. Племянник Николай Алексеевич, школьный учитель, пригласил Максима в клуб на концерт артистов областной филармонии. Максим охотно согласился. За милую душу слушал песни, смешные истории, басни, смотрел фокусы, пляски. С восторгом хлопал. Но когда выкатили на середину сцены пианино и за него сел музыкант, смахивающий из-за своего наряда на стрижа, Максим досадливо заерзал в кресле, крикнул и сделал такое движение, будто хотел подняться и уйти. В другой раз и ушел бы, сейчас же не хотел позорить своей необразованностью много им уважаемого племянника Николая Алексеевича. Присмирел и, делать нечего, стал слушать.

И произошло с Максимом занятное приключение.

Когда тот стриж коснулся пальцами клавишей, Максиму почудилось, будто он легонько постучался маленьким молоточком в его душу. Душа послушливо распахнулась. И стало являться Максиму бывшее—такое далекое, ровно его никогда и не было. Но как же, как же не было-то, когда вот является и Максим призывает его. Тихонько отвалился на спинку кресла, прикрыл глаза.

Летняя ночь. Теплая-теплая. По реке ветерок гуляет, гонит волну. Волна ударяет в бока лодки, лодка качается и плывет по течению. А в лодке той плечом к плечу сидят Максим и Марина. Плывут и молча слушают друг дружку. «Марина,—шепотом зовет Максимова сердце,—ты слышишь меня?» «Слышу, все слышу»,—отзывается Марино сердце. «И я слышу...» Волна плещет, лодка кача-

ется, качается и плывет. Ах, Господи, хорошо-то как, весь бы век так!.. А в деревне, которая осталась далеко позади, уже вовсю поют петухи...

Все, тишина на один миг, и кругом захлопали. Максим открыл глаза, осторожно тронул племянника за рукав, склонил к нему голову, спросил учтивым шепотом:

— Что это он такое играл?

— «Лунную» сонату Бетховена.

— Хм,— благодарно кивнул Максим. Потом опять тронул рукав племянника:—Очень, скажу я вам, Николай Алексеевич, вежливая музыка. До чрезвычайности вежливая...

Больше уже ничего не видел и не слышал Максим на концерте.

Дома, указав на черную тарелку репродуктора, спросил:

— А по радио, Николай Алексеевич, передают ту музыку?

— Изредка, но—передают.

— Хм... Сочинитель ее, полагаю, из немцев?

— Из немцев,—подтвердил племянник. И рассказал Максиму некоторое из того, что знал о Бетховене.

— Хм... Серьезной существенности, думаю, была личность.

На другое утро, когда все ушли на работу и учебу, он включил погромче репродуктор, сел против него на табуретку и стал ждать: а вдруг передадут вчерашнюю вежливую музыку. Но—не случилось...

Через какое-то время Максим опять пошел в поселок, купил радиоприемник на батареях и принес на пасеку. В свободный от хозяйства час крутил ручки его, вслушивался во всякую, на какую натыкался, музыку. Но это все была не та музыка, которую он желал найти. Однако однажды ему повезло: услышал знакомый молоточек.

— Вот она! Тихо, Марина,— прошептал.— Послушай, какая будет вежливая музыка... Про то, как мы плыли с тобой в лодке.

Марине музыка тоже понравилась. Когда она, растроганная воспоминанием далекой молодости, смахнула со щеки слезу, Максим спросил:

— А не помнишь ли, голуба, луна тогда светила?

Марина подумала и сказала:

← Светила.

— Вот и мне сдается—светила. А жаль, что не сидела ты рядом со мной, когда стриж играл—большой, скажу тебе, мастер.

Марина вздохнула:

— Ну что ж теперь...

Отыскивая вежливую музыку, Максим мало-помалу пристрастился к разным другим радиопередачам. С особым вниманием прослушивал последние известия. Поначалу, надо сказать, он никак не мог взять в толк, почему говорят **последние**? Коль последние, то после них приемник должен замолчать. Тогда как он говорит чуть ли не круглые сутки и эти **самые последние** известия передают чуть ли не **каждый час**. Потом сообразил: последние—это самые новые известия. Хотя **нового** в них было мало, говорили, считай, про одно и то же—про победы и достижения, на которые поднял и вдохновил «великий вожьд и учитель»: там-то выполнили и перевыполнили, тот-то установил **новый рекорд**, те-то работают уже по планам **следующего года**... Слушая это, Максим ухмылялся лукаво, **вертел головой**:

— Блятяки! Ой, блятяки!..

— Кто блятяки-то?—не понимала Марина и потому пугалась.

— Ясно, не мы с тобой. Пердовики, голуба,— вот кто блятяки.

— Говори слава Богу, что нет на пасеке никого, кроме нас с тобой, а то б...

— А то б—что?

— Сам знаешь.

— Речь твоя вполне верная,— соглашался Максим. Но при этом возражал:— Однако, голуба, и существенность моя, поди, живая.

Дав жене такое разъяснение, продолжал слушать радио. И было у него ясное ощущение, что должны передать, непременно когда-нибудь передадут известие большой и необыкновенной важности. И то известие будет иметь касательство, опять же ощущаемое душой, но смутно понимаемое умом, к вежливой музыке, вообще ко всему, что есть в мире вежливого, красного. И узнает Максим то известие тотчас, как начнут его передавать, и скажет проникновенно и таинственно:

— Вот оно! Тихо, Марина,— слушай...

Однако вскоре Максим перестал включать приемник. А Марина стала называть мужа не просто Максимом, а Максимом Горьким.

Начальствовал над пасечником Максимом Савельевым восемь последних лет Иван Серафимович Болтушкин. Но подошли годы—захворал, а потом и помер. На должность Болтушкина заступил Степан Мамонтов, которого Максим называл из неуважения не иначе как Степашкой. Когда он первый раз приехал на пасеку начальником, меж ним и Максимом произошел нехороший разговор. Про что была речь, Марина не слышала ладом—муж отправил ее ворошить сено,— а сам Максим не обмолвился ни единым словом и был сумрачный, прямо сентябрем смотрел. Долго сидел на колоде возле омшаника, потом кликнул собаку Фомку и ушел в тайгу. Вернулся уже потемну, вроде как повеселевший, но на расспросы жены ничего не отвечал. Через сколько-то дней Степашка явился опять. Еще не слез с коня, как Максим снова услали Марину на покос. Когда вернулась, Степашка уже умелся, а Максим

ходил прямо туча тучей. Таким он был и на другой день, и на третий... Марина переполошилась, уж не хворь ли, не порчу какую наслал на мужа окаянный Степашка. И как в случаях, когда Максим, бывало, остужался и его донимал насморк, Марина достала из сундука давнишний, еще бабушки своей, шерстяной плат с бахромой, усадила мужа на табуретку, велела поставить ноги в тазик с горячим травяным настоем, накрыла всего платом, шепча нужные слова, трижды обвела вокруг головы точильный брусок, после чего бережно сняла плат, вышла во двор, трижды встряхнула его, приговаривая:

— Подхвати, ветер, недужь мужнину, унеси на гору южную, спали жарким пламенем, засыпь диким камнем...

К удивлению Марины, чары ее на этот раз оказались бесплодными. Более того, Максим пристрастился к медовухе, которую Марина заводила в логушке для добрых гостей. Поначалу она не испытывала никакого расстройства: выпивка особо не прельщала мужа. И потому надеялась, что скоро бражничество наскучит ему и все пойдет у них по-прежнему, по-доброму. Но и тут она ошиблась. Выпивки Максима превратились в один беспросветный загул. Как все женщины, Марина стала корить-бранить мужа, называть его забулдыгой, горьким пьяницей и нарекла Максимом Горьким.

Максим же, как все сплошь выпивохи, возражал против жениных упреков и поношений, но в отличие от многих выпивох, возражал спокойно и обходительно.

— Скрывать, голуба, нечего, спорить затруднительно, потому как согрешение мое наличествует. Но что я совсем уж горький да забубенный—ни в кои веки не соглашусь. Тут ты, голуба, делаешь изрядный перегиб. Согрешение же мое от того, что моя существенность очутилась в большой затруднительности и ищет себе нужную идею мысли.—После таких слов Максим степенно выпивал кружку медовухи, сколько-то времени сидел неподвижно, думал про что-то, говорил:—А вообще, Марина, пушай

я буду Максимом Горьким. Приму за почесть. Писания сего сочинителя читал я в молодые годы — дивно как много в них печали и радости за людскую сущность...

Дойдя до нужной «отметки», Максим шел к омшанику, садился на чурбак, созерцал окружающий его таежный мир и оценивал все приходящие в голову «идеи мысли», чтобы из множества их выбрать ту единственную, которая могла бы вывести из «затруднительности» его «сущность»...

Долго ли, коротко ли, выбор Максим сделал, тут же отрезвел, собрался и пошел к Степашке Мамонтову и имел с ним какой-то разговор. После чего, если Степашка приезжал на пасеку, Максим — кстати, так и оставшийся для Марины и всей родни Максимом Горьким — разговаривал с начальником вполне уважительно, но не больше как по делу.

Жизнь у Максима с Мариной шла прежняя: ходили за пчелами, вели хозяйство. В досужий час Максим крутил ручки радиоприемника, отыскивая вежливую музыку, когда посчастливится, слушали ее, слушали последние известия и разные другие передачи. Как и раньше, Максим, лукаво усмехаясь, называл «пердовиков» «блатяками» и все ждал той особой важности известие, которое будет иметь касательство ко всему вежливому и красивому.

И вот такое известие однажды стали передавать. Максим Горький, верно, по голосу диктора, тотчас узнал его. Как потом говорила ему Марина, сделался белый, словно полотно, и таинственно прошептал:

— Вот оно; Марина. Слушай. Сейчас скажут, что помер наш вождь и учитель. — После этого Максим снял со стенов ружье, толкнул ногой дверь и пальнул сразу из двух стволов. — Есть, Марина, Бог на небесах!..

Дядя — Так и побойся же его, — обомлела от страха Марина.

— Рад бы, голуба, да на земного, — показал пальцем на приемник, — весь свой страх извел. Усоп идол. — Накинул полушубок, взял лыжи и, кликнув Фомку, пошел в тайгу...

Как-то все не было подходящего момента сказать, что росту Максим был небольшого, но матерый, усадистый. Шея короткая, считай, заодно с головой. Голова большая, тяжелая, кудлатая. Лицо багровое, с крупным мясистым носом, редко утыканным волосками. Ходил Максим по-медвежьи, вразвалку и неторопливо, каждый шаг, по выражению племянника Николая Алексеевича, — утверждение статьи конституции. И большой силы был человек. К примеру, в пору медосбора брал в охапку двойной, с магазином, улей — а это килограммов под сто — и нес куда ему требовалось.

Так вот, как-то раз Максим Горький, не крикнув даже, поднял улей и понес. Гостивший у него племянник подивился, спросил:

— Дядя Максим, тебе ж восьмой десяток доходит. Как силу сохранил?

Максим остановился и, держа ношу навесу, дал ответ: — Человека, Николай Алексеевич, точат не годы и работа; а подчиненье да душевная забота. Я во всю жизнь, доложу вам, никому не подчинялся...

— Как же никому, если над тобой всегда были начальники?

— Ваша правда, Николай Алексеевич, начальство надо мной всегда было и есть — без него никак. Только начальство начальству рознь. Ежели, к примеру, умный начальник...

— Да ты улей-то пока опусти.
Максим усмехнулся:

— Хм. Но потом-то его все равно ж подымать... Так вот, при умном, говорю, начальнике у пасечника никаких душевных забот, потому как нет никакого подчинения дружки дружкой—одна обоюдная уважительность. Шибко, к примеру, уважительно мы работали с Иваном Серафимовичем Болтушкиным, царствие ему небесное и светлая память на земле. О-о, знать бы вам, что это за человек был, какой замечательной сущности. И с другими начальниками не было у меня подчиненности, все держалось на уважительности. А вот со Степашкой Мамонтовым... Этот был медный лоб, вороньим пометом, прости, Господи, набитой. А в сердце—спесь. Как заступил на должность, принялся искушать мою сущность: дескать, пушай у тебя столько-то улыев «медведь утащит», а мед мы с тобой—пополам. Я ему на это: не сладить, мол, нам дело. А он: поглядим, мол. И давай меня гнуть да под себя подминать. Говорю: ой, парень, не надсадишься...

— Сам-то не надсадишься? Поставь улей или уж неси.

— Дайте доскажу, маленько осталось... А, значит, Степашка мне все свое: поглядим. И зачал мне намеки намекать. По политической части. Во лиходей-то! И дальше свою линию насчет улыев ведет. Тут и началась у меня великая душевная забота: как над собой подчинения не допустить, иначе порушится вся моя сущность. Такая, понимаете, Николай Алексеевич, забота пошла, что я даже греховным баловством занялся, про что, полагаю, Марина вам извещала. Еще б чуть-чуть и как раз бы горьким пьяницей стал. Да подвезло мне: вовремя нужную идею мысли нашел. И не мешкая—к Степашке: позволь, твоё степенство, побеспокоить и изволь со мной вон в ту рощицу на минутку. Чтoб, значит, с глазу на глаз, без свидетелей... Не стану скрывать, в тот момент не мог я за себя ручаться, хотя и смиренный от природы. Но, слава Богу, до смертоубийства не дошло, а бока намял... Так-то, Николай Алексеевич,—Максим понес улей дальше.

Вернувшись, пригласил племянника сесть на лавочку возле дома.

— Жизнь, Николай Алексеевич, один Господь дает, а отнять ее норовит всякая козявка. Вот и бейся человек. **Перво-**наперво, говорю, оберегай себя от разбоя подчинения, не то заточит тебя душевная забота и рассыплется твоя сущность во прах, как гнилой улей. А без сущности и тело уже—ничто... Вроде простецкая идея мысли, но попробуй ее сразу сыскать. Вернее сказать, выбрать из всех прочих, какие жизнь перед тобой выставляет в трудный момент. Это, доложу вам, не фунт изюму... А еще одну идею мысли так и не удалось мне сыскать. **Вот** уже сколько лет.

— Это какую же?

Максим легонько засмеялся:

— Если, говорю, не нашел покуда, то как скажешь—какую. Может, помните, я когда-то спросил вас про сочинителя лунной музыки, мол, не из немцев ли он случаем? **Вы** ответили: из них, мол. Не забыли?

— Хорошо помню.

— А теперь еще хочу спросить. Как вы полагаете, **Гитлер** слышал когда-нибудь ее, лунную музыку?

— Конечно. Говорят, в молодости он любил Бетховена. Во даже как! Хм... Тем больше не пойму. Ни Гитлера, ни нашего страшного упокойничка, который, говорят и пишут, тоже много чего вежливого знал и любил... Хм. А может, они притворщиками были в святых-то утлениях души своей? Ведь всякая вежливость, краса, пригожесть, какие есть во всем свете, изгоняют из человека тьму, благородят, поднимают вверх от скотства, после смерти добрую об нем память хранят. Но почему с ним-то случилось наоборот: ниже скотства, самого злого зверства пала их сущность. Почему, спрашиваю?.. Вот такая забота не отпускает меня все эти годы. Пусть-ка тут наука ваша свою идею мысли скажет. Моему же умишку, чую, не по силам такое...

ОБРАТНЫЕ ЖУРАВЛИ

Мерин Гнедко долгие годы работал в шахте. Выка- тывал из забоев вагонетки с углем и тяжелой пустой породой. Мало знал людской ласки—под землей жизнь суровая. Не был балован кормом. Не видел божьего све- та, и глаза его угасли, сделались незрячими. До срока износившегося, его выбраковали, подняли па-гора и за бесценюк продали цыганам. А те за три мешка сорного овса уступили колхозу «Красный пахарь».

Обмен совершили кладовщик Зубов, счетовод Данилов и Кондратий Пименович Ткачев, по старости лет зани- мавшийся изготовлением саней, телег, сенокосного и про- чего инвентаря. Поначалу Зубов с Даниловым шибко за- сомневались в нужности колхозу костлявого, понурого да к тому ж слепого тягла.

— Хомут на него станешь надевать, он и повалится. Надо б Хабарова, председателя, спросить.

— Да как ты его спросишь, если он в район уехал. А цыгане ждать не любят,—возразил Кондратий Пимено- вич.— И еще раз деловито осмотрел со всех сторон живо- тину, заглянул в зубы, потрогал репицу, постукал палоч- кой по копытам.— Как, значит, бывший конюх со всей сурьезностью говорю, мужики: три мешка овса—цена вполне сходная. Через недельку-две травка зазеленеет, и он оживеет, окрепнет. И буду я на нем ездить в рошу за матерьялом. А?!—старик приложил к уху ладошку—с го- дами он стал плохо слышать.

Ему никто ничего не ответил: все запрокинули головы и смотрели с удивлением и радостью на плывущий в глу- боком синем небе клин журавлей. Сняв шапку, чтоб не съехала, поднял голову и Кондратий Пименович.

— Ровным образом на север путь дёржут—хорошая, мужики, примета.

— Чем же хорошая?

— А тем, что осенью обратно полетят. К той поре мы уже с новым овсом будем,— засмеялся Кондратий Пименович,— так что нечего жалеть. А?!—приложил к уху ладошку.

В общем, взяли Гнедка.

А вечером приехал из района председатель Хабаров и поднял большой шум, мол, посевная грядет, лошади за зиму исхудали, а в его отлучку цыганам за здорово живешь овес раздаривают. И назвал в сердцах Кондрата Пименовича расточителем.

Что ж, пушай правление сымет с меня за овес сколько полагается трудодней,— сказал старик.

Хабаров крепко выматерился, резко махнул рукой на Кондратия Пименовича и перестал шуметь.

— Вот и ладно, вот и добро,— обрадовался Кондратий Пименович.— Он свет слышит, я свет вижу, а вместе, получается, самая настоящая нам цена...

Гнедко, как и говорил Кондратий Пименович, с молодой травой маленько поокреп, повеселел.

Наутро старик запрягал Гнедка в легкую тележку, клал на нее топор, лучковую пилу, косу и правил в недалекой бороздке. Конь вышагивал по дороге размеренно и степенно. Ноги подымал непривычно высоко для глаза возницы, а опускал их так, будто путь лежал по зыбуну. Когда Кондратий Пименович, чтоб повернуть вправо или влево, дергал за вожжу, мерин на короткий миг замедлял ход и велушивался в ту сторону, в какую требовалось повернуть, после чего мелко перебирал передними ногами вбок до тех пор, пока возница не дернет обеими вожжами: «Прямо». И Гнедко уверенно, с прежней размеренностью трогал прямо.

Поравнявшись со своим домом, Кондратий Пименович останавливался, звал внука:

— Минька, где ты там?!..

Шестилетний Минька вылетал с восторженными воплями, взбирался на телегу, просил:

— Деда, дай я поеду.

Кондратий Пименович уступал вожжи внуку, и он держал их до самого взъёма, который начинался сразу же за деревней. Перед взъёмом дед и внук слезали с телеги и подталкивали ее сзади, помогая Гнедку. На взгорке старик натягивал вожжи:

— Отдохни, милый, чуток. Успеем, куда нам, старым, торопиться.

Гнедко вздымал во вздохе бока, будто отвечал: «Верно, теперь уж торопиться некуда...»

Добравшись до березняка, Кондратий Пименович выпрягал мерина, отводил его в тень деревьев, доставал из кармана краюшку хлеба.

— Старуха тебе, Гнедко, гостинца послала. Ну-ка, Минька, дай ему.

— А он меня, деда, не укусит?

— Чего укусит-то? Ты ж к нему с добром.

Минька подносил к теплым чутким губам коня хлеб, с улыбкой наблюдал, как Гнедко пережевывает его, роняя капли слюны.

Потом Кондратий Пименович косил траву какая поменьше, а внук собирал ее и снашивал под морду коню. Покончив с этим, Минька принимался собирать цветы, гоняться за бабочками, находил еще много разных утех. А Кондратий Пименович брал топор и, кружа по роще, оценивал каждое дерево: на что бы оно могло сгодиться?..

С возом разного матерьяла отправлялись в обратный путь, когда солнце поворачивало за полдень. Дорога все под горку и Гнедку не надо было особо напрягаться. Вожжи держал Минька. А Кондратий Пименович шурился на солнышко и тихим жиденьким голосом напевал сам себе грустно-душевную песню про какую-то девицу-красу Аню-

ту. Возле дома старик ссаживал внука с воза, трепал его белокурые волосы.

— Ну, брат, нагулялся, накучерился. Ступай помогай бабке кур доглядывать...

Кондратий Пименович правил на колхозный двор. Встречный народ, не скрывая насмешки, любопытствовал:

— Ну и как, дядя Кондратий? Мерин-то?

— Чего, чего?—напрягал слух старик.

— Говорю, доволен-нет конем-то?

— Так, поди, сам видишь: он везет, я—на возу, он слушает, я—гляжу. Одним словом, согласие меж нами полное—как и должно быть среди хороших товарищей.

— Ох, очутишься ты со своим товарищем под яром...

Понятно, такие слова обижали старика, но он виду не подавал. На колхозном дворе чистил скребком бока мерина, распутывал гриву и вел речь:

— Хах, под яром очутимся. Ты-то, мил человек, скорее нас туда угодишь. Мы свою жизнь до самого уже края дошли, след, наверное ж, и умишка и смекалки подкопили—занимать не станем. Ты вон под землей, во тьме рабочую науку проходил—это вам не в бирюльки играть. К слову, сын мой Николай, Минькин, стало быть, отец,—и сильный, и хваткий парень, до женитьбы подался было на шахту за длинным рублем. Так через три недели назад вернулся—не выдюжил. Лучше, говорит, буду хлеб рстить. Да и я, говорю, не в тетеринном гнезде жизнь просидел. Считаю, всякое рукомесло разумею... Ох, скажу тебе, и жадным же я был до работы. Конечно, и силенка тоже была, да съели годы, как огонь солому. А вот смекалку у нас с тобой да охоту до дела одна смерть отымет. Верно я говорю, Гнедко?

Мерин вздыхал мол, известное, мол, дело...

Вздыхал и Кондратий Пименович:

— Уже близко от нас кружит она, костлявая. Нам с тобой до осени бы, до обратных журавлей дожить, а там можно и ... Если по холодам, то трудненько будет мужи-

кам могилку рыть. Ну, а если, Божья воля, до весны дотянем, то и еще небо покоптим. Как?—смеялся Кондратий Пименович.

Гнедко в знак согласия взмахивал хвостом.

— Вот и добро... А теперь, значит, мы сделаемся так: я матерьялом займусь—шкурить стану, а ты гуляй, пасись. Денька так три. Потом снова в лес поедем. Ну, ступай.—Кондратий Пименович открывал ворота, и мерин шел на лужайку...

Так они и жили-дружили. Но совсем недолго. Грянула война.

В какую-нибудь неделю деревня сделалась сирая—все мужики ушли на фронт. И конечно, сын Кондратия Пименовича, Николай, тоже. Несмышленищ Минька напомнил ему:

— Пап, а ты говорил, пойдем скоро карасей удить.

— Говорил, значит, сынка, пойдем. Пока я фашиста вытуриваю, ты поедь с дедушкой в лес, два хороших удилица срежь, ошкури, в тенечке просуши их, а тем временем и я вернусь. И пойдем мы с тобой на озеро карасей таскать—вот таких.

Николай не обманывал сына, верил в то, что говорил. Да все сплошь верили, что война будет короткой—месяц, от силы два—и мужики вернутся. Потому так легко Ксения, жена Николаева, серьезная, умная женщина, согласилась попредседательствовать в колхозе до победы вместо Хабарова.

Кондратий Пименович был понедоверчивей. Он сказал Гнедкx:

— За два месяца едва ли одолеют мужики Хитлера, но что к обратным журавлям возвратятся, нисколько не сомневаюсь. Вот такая, брат ты мой, обстановка. Так что давай поднатужимся...

И два старых немощных товарища, человек и конь,

терпеливо, без упрёка принялись за тяжелую работу. Возили сено, силос, снопы, кули с зерном, дрова, воду на скотный двор...

Промелькнуло лето. Прошла осень. Замели метели. Обратные журавли давно уже проплыли на юг. Правда, ни старик, ни мерин за работой не видели и не слышали их, но они, конечно ж, пролетели—не остались же зимовать в холодном краю. А мужиков все не было. Правда, иные возвращались, но кто без руки, кто без ноги, а то и без обеих. А еще раньше калек стали приходиться похоронки. Сложили где-то головы счетовод Данилов, кузнец Коробейников, конюх Евтюхов... Перед самым Покровом разом пришли известия о гибели председателя колхоза Хабарова и Николая, сына Кондратия Пименовича. Старуха слегла. Невестка Ксения убивалась до того, что Кондратий Пименович забоялся: не помрачилась бы умом. И за внука Миньку боялся—жметесь мальчонка к матери, дрожит осинovým листом, понять ничего не может.

— Уймись, дочка,—утешал Кондратий Пименович.— Одно нам остается, милая,—вековать дальше...

Мало-помалу совладала с собой—дюжая женщина. Да и как было сломиться, пасть духом, когда все глаза сирой деревни—на нее. Походило теперь, что те, кому судьбой предназначено остаться на войне целыми и невредимыми, вернутся домой нескоро.

— Худые, Гнедко, дела наши. Бабам с ребятней и того хуже. А потому один нам исход...

Старик не договаривал, он знал: Гнедко понимает его и без слов...

И они справляли на совесть всякую работу, какую указывала им председательша Ксения Ткачева. Все чаще случалось исполнять указания панихидные—сволочь на скотский погост то падшую овцу, то корову, то лошаденку. И все чаще с тесовым гробом на розвальнях лежал путь Гнедка и Кондратия Пименовича на людское кладбище.

В первых числах марта, когда уже поярче стало светить солнышко и в душе затеплилась надежда на облегчение, померла, так и не оправившись от горя, старуха Кондратия Пименовича, которая была почти на десяток лет моложе его. Старику казалось, что в нем осталось жизни столько, чтобы проводить старуху. Так и сказал мысленно Гнедку: «Меня легче повезешь: дорогу эту и запорошить не успеет...»

Но пришла весна и растопила все дороги.

А чуть позже над деревней пролетели на север журавли.

А осенью они улетели обратно.

И еще они два раза прилетали.

И два раза улетали.

И вот прилетели снова.

Старик Ткачев и мерин Гнедко ни разу их не видели и не слышали. Но, конечно же, они прилетали и улетали.

— А мы всё живы, Гнедко,— с изумлением сказал Кондратий Пименович.— Но чем? Чем, спрашиваю, живы-то, а?

«Тоже вот не возьму в толк—чем»,— глубоким вздохом ответил Гнедко.

— Тогда и гадать не станем... Завтра, родной, пахать выезжаем...

* * *

Погода в тот день была переменчивая: то надвигалась хмарь, и колкий, пахнувший зимой ветер с разбойничьим посвистом ударял в грудь с такой силой, будто хотел опрокинуть и закувыркать по полю, то вдруг тучи разрывались, и в голубой прогалине ярко поблескивало солнышко. Потом опять застилал землю мрак, бесновался и сатанел ветер. В очередной раз он налетел сбоку, норовя сорвать со старика шапку. Чтобы придержать ее, Кондратий Пименович отнял от плуга руку, другая не смогла справиться, лемех выпростался из земли, его замотало по сторо-

нам, старик оступился и упал на пашню. Гнедко же, сбившись с шага, выступил—что с ним редко бывало—из борозды, заторопился стать в нее снова, его закачало, он стал. Ноги и впалые ребристые бока мерина дрожали. Кондратий Пименович, поднявшись, тоже почувствовал во всем своем иссохшем теле мелкую дрожь, голова кружилась, к горлу подступила тошнота. Подошел к морде коня.

— Ужель конец нам, Гнедко?—Боясь упасть, потянувшись было к коню, но сообразил, что если он за него ухватится, рухнут оба.—Все, конец...—проговорил пахарь.

— Конее-ец!—эхом долетело со стороны деревни, откуда как раз дул ветер. Оттуда же донесся звук, похожий на ружейный выстрел. Не доверяя своему слуху, он решил было, что ему блазнится, но заметил, как чуткие уши Гнедка дрогнули, стали дыбом. Потом медленно опустились. Немного погодя ружейный звук повторился, уши коня опять вздыбились.

— Что там, Гнедко?—тревожно спросил Кондратий Пименович и посмотрел на невспаханную часть деляны: оставалась почти половина... Из прорехи в серой туче выглянуло солнце, лучи его обдали лицо острым теплом. «Третий час, не больше»—определил Кондратий Пименович. Достал из кармана фуфайки краюшку, разломил на две равные части.

Ноздри Гнедка, слышав хлебный дух, заволновались.

— Ишь ты, однако, какой,—старик слабо, но просветленно улыбнулся.—Скажи спасибо председательше Ксении—жалееет она нас с тобой. Ну, бери свою долю.—Кондратий Пименович поднес к губам коня полкраюшку и наблюдал, как слабо, от бессилия, двигаются его челюсти. И пронзило ветхую душу Кондратия Пименовича сердоболее к верному товарищу, прильнул он щетинистой щекой к лошадиной морде...

Гнедко замер, даже, казалось, перестал дышать, из незрячих глаз его выкатывались крупные слезы и смачивали лоб старика.

— Горемычные мы с тобой,— шептал Кондратий Пименович, всхлипывая,— горемычные, Гнедко... Однако будет. Ты меня пожалел, я тебя—вот и ладно, вот и добро. Облегчились малость, а теперь... Ты уж, братец, не сердчай на меня, надо нам сегодняшнюю норму дать. А уж завтра как Бог велит. На-ко вот и мою полкраюшку.

Конь печально отвернул голову в сторону.

— Чего ты, брат? Не моя это придумка, Ксения, председателша, так велит. Ты, говорит, тятя, и щи хлебаешь, и картошки печеные ешь, Гнедку же только навильник гнилой соломы с крыши сарая перепадает. Тогда как главный работник он, а ты лишь сзади гуляешь. Так что хлебец-то свой обеденный ему отдавай. Так и говорит. Ей-Богу не брешу. Я когда-нибудь брехал тебе? Брехал?..

Гнедко стоял понуриив голову, будто силился вспомнить, брехал ли когда ему товарищ.

— И не тужься, браток, ничего ты такого не припомнишь. А потому бери. Бери, говорю... Ну вот и добро, вот и молодец... А теперь тронемся дальше—надо... Оно и потому еще надо, что никак не годится долго стоять: сойдется тело, ужмутся жилы и—совсем нам каюк.— Кондратий Пименович вернул плуг в борозду, дернул за вожжу:—Ну, с Богом, милай...

Гнедко медленно, словно бы отходя от сладкого сна, напрягся, подался вперед, постромки натянулись, лемех плуга ушел в подзолистую почву.

Немощные, изнуренные человек и конь делали свое непреложное дело, а небо обрушивало на них лавину снежной крупы. Она больно секла морду и грудь коня, щеки и руки пахаря, от нее нельзя было ни увернуться, ни заслониться, ни укрыться, двум страждущим оставалось одно—ступать и ступать по борозде до конца гона, кажущегося безмерным, одолеть его и, нисколько не мешкая на повороте, заходить на новый гон—иначе никак нельзя, иначе сойдется, не дай Бог, тело, ужмутся жилы...

— Де-да-а-а!..

Кондратий Пименович поднял голову. Навстречу от того конца деляны, размахивая руками, бежал внук Минька, вытянувшийся за эти годы, тонкий, как былинка. «На хорошие б его харчишки...»—Сердце старика тягуче запыло и затревожилось чего-то.

— Деда, война кончилась!

Кондратий Пименович натянул вожжи.

— Стой, Гнедко... Чего говоришь?

— Мамка из района приехала. Война кончилась!..

Кондратий Пименович хорошо теперь расслышал сказанное внуком. Но взять в толк его слов никак не мог.

— Погоди,— сказал. И дернул вожжи.— Но, Гнедко.

Этот гон был последний. Дойдя его до конца, Кондратий Пименович опрокинул плуг набок.

— Всё, Гнедко. Вот и дал Господь. Теперь айда победу праздновать.

Тревога из сердца старика ушла, радость же пока еще не явилась.

* * *

Победа победой, а работать надо: весна, день год кормит. Попраздновав денек, побаловав себя ничегонеделаньем, Кондратий Пименович и Гнедко опять принялись пахать. Потом сеять, закладывать силос, таскать копны, убирать урожай...

Стали помаленьку приходиться уцелевшие на войне мужики. Шибко дивились:

— Так ты жив, что ли, дядя Кондратий?

— Чего, чего?—старик прикладывал ладонь к уху.

— Говорю, не помер еще? И твой мерин слепой не окошел?

— Как помрешь-то, вас не дождавшись. Друг дружке с Гнедком костылем были и—жительствовали.

— Это сколько ж тебе, дядя Кондратий?

— Э-э, милай, давно уж нам обоим пора...

Была осень. День стоял теплый, светлый. А Ксения перед уходом на работу натопила печь, и хворому Кондратию Пименовичу было душно в избе. Попросил Миньку:

— Сведи-ка меня, парень, во двор.

Минька живо одел, обул деда и, легкого как перышко, вывел на волю, усадил на завалинку. Кругом были тишина и покой. Кондратий Пименович посмотрел в бездонное голубое небо. Вздохнул:

— Хорошо-то как, восподи...

От ворот послышалось легкое ржанье Гнедка.

— А-а, друг мой. Впусти его,— сказал внуку.

Минька открыл ворота. Гнедко подошел к Кондратию Пименовичу, коснулся мордой его плеча.

— Здравствуй, здравствуй, родной. Как ты? Скучаешь без меня? А я вот, брат, совсем расхворался.

Минька вынес краюшку хлеба. Гнедко принял ее, стал жевать. А Кондратий Пименович гладил коня по храпу, приговаривал:

— Потчуйся. Любит тебя Минька. Потчуйся.

Конь вдруг перестал жевать, уши его наострились, забеспокоились.

— Что, Гнедко?—спросил Кондратий Пименович.

— Деда, глянь—журавли!—с восторгом заверещал Минька, запрокинув голову и показывая рукой в небо.— Журавли!..

Стройный клин медленно и плавно держал путь на юг. Птицы посылали на землю печальные прощальные клики.

— Обратные. Вот и дождались мы, Гнедко. Легкого вам пути, милые. Прощайте,—старик помахал им слабой иссохшей рукой.— Прости и ты меня, друг...— Кондратий Пименович обнял голову покорного коня.— Прости, если что не так...

* * *

Умер Кондратий Пименович на рассвете следующего дня. Гнедко исполнил свой последний долг перед товарищем—отвез его на кладбище. И куда-то пропал. Через несколько дней Минька Ткачев с друзьями случайно нашел его окоченевший труп на краю скотского погоста. Сказал об этом матери Ксении. Та послала мужиков закопать Гнедка. «Чтоб всё было по-людски»,—сказала.

1990 г.

ДЯДЯ ТАРАС

Лет за семьдесят. Малого роста, сухой, сутулый. Щетиристое посеченное морщинами лицо, впалые щеки. Во рту постоянно сигарета. От курения концы пальцев и редкие щербатые зубы—желтые.

Служил (его словечко) в грузовой автоколонне. Служба состояла в том, чтобы где-то убрать, подмести, что-то доглядеть, кого-то живым духом отыскать и направить к начальству... Приходил на службу раным-рано—благо жил поблизости от автоколонны— и первым делом шел по всем укромным местам, закуткам—складывал в мешок порожние бутылки, шелкал языком, весело приговаривал:

— Ну, хлопцы, язви вас. Дождетесь, осерчает Петро Иванович. Ох, не дай Господь, осерчает...

Почти всякий раз случалось так, что когда дядя Тарас, придавленный битком набитым мешком, выходил из ворот, в ворота входил Петр Иванович, начальник автоколонны,—человек крупный, рыхлый, медлительный в движениях, со скучным лицом.

— Здравствуй, дядя Тарас.

— Здравия вам, Петро Иванович, желаю!

Оба останавливались.

— Значит, говоришь, того, ребята потребляют не меньше?—Петр Иванович указывал глазами на ношу старика.

— Так точно, Петро Иванович,—потребляют, окающие!—вдохновенно докладывал дядя Тарас, встряхивая мешок, чтоб уложить его поудобнее, и перегонял из одного угла губ в другой дыбом торчащую сигарету.

— Вот ведь мерзавцы,—обреченно произносил начальник колонны и вздыхал.

— Об том же самом непрестанно думаю, Петро Иванович.—Дядя Тарас тоже вздыхал. И тоже печально. Только печаль его была совсем иного свойства.

Раньше-то, дядя Тарас, разве ж так было...
вечер. Не припомню, Петро Иванович, не могу припом-

Расходились.

Притащив мешок домой, дядя Тарас сдавал его старухе:

— Вот тебе, девка. Дальше твоя забота. Да поаккуратней будь с имья.

— Не указывай, фофан,— неприязненно отзывалась старуха, высокая, с неласковым мужеподобным лицом, сколько жили, указывала в доме только она.

Дядя Тарас наскоро пил чай с горячими оладьями и опять бежал на службу. Служба шла легко, одна дыхательная трубка как среди людей. А люди всё бывалые—воротилы и сплошь разные. Чего от них не услышишь, чему не удивишься, над чем не посмеешься от души! Вчерашние истории и случаи еще не все пересказаны—переслушай, а хлопоты везут уже из рейсов новые. И в «бардачке» своих возил себе что? Кто-нибудь, к примеру Василий Александрович, в сторону укромного местечка, в сторону подлинно дяде Тарасу:

— Ну, Василий, посидим малость, покурим...

Дядя Тарас уважал Василия, как и всех прочих хлопотливых. Ему первому—по старшинству—подносили полный крашеный стакан. Дядя Тарас порывисто заслонялся

— Не, не, не, родные! Не, сынки. Служба! А вдруг меня чего-нибудь хватится сам Петро Иванович.

— Так и нас могут хватиться,— возражал Хлопотов,— но мы ж не робеем.

— Оно, Василий, конечно, дело такое. Но я, скажу вам, всю жисть не потребляю ее. А вот табаком занимаю себя, считай, с малолетства,— дядя Тарас бросал на пол, растирал каблуком окурки и доставал новую сигарету.

— Не потребляешь-то, дядя Тарас, по, как говорится, финансовым или каким другим соображениям?

— Так она ж, сатана, организм рушит, годы укорачивает. В газетах так и пишут.

— Так, значит, ты и нам, которые газет не читают, советуешь завязать, а?—спрашивал кто-нибудь.

Дядя Тарас конфузливо смеялся, но при этом глаза его делались плутоватыми, шныряющими.

— Вас, сынки, неволить не могу, не имею права.

— Мы у него особая статья,—с добродушным намеком пояснял Василий Хлопотов.—А, дядь Тарас?

Намек старик чудесно понимал,—чего тут не понять-то,—однако виду не подавал, хихикал:

— Ой, шутники ж, язвы вас,—хорошенько затягивался, давился дымом, долго и судорожно кашлял. Потом утирал рукавом пиджака один глаз, другой и подымался.

—Весело с вами, сынки, но—служба!—Окидывал взором закуток, наказывал с некоторой деланной строгостью:—Вы, хлопцы, культуру-то соблюдайте, не бейте тут ничего—завтра ж мне, старику, за вами убирать...

Бегая по делам службы, дядя Тарас как бы мимоходом заглядывал в другие укромные закутки. Заслонялся ладонью от подносимого стакана, курил, слушал хмельные шутки, остроты, разные истории, подначки в свой адрес, потом давал хлопцам наказ «соблюдать культуру» и бежал дальше...

Когда вечером приходил домой, старуха насупленно наливала щей, сухо сообщала:

— Людмила была.

— Ну?

— Шубу цигейковую себе приглядела.

— Дала ей?

Старуха сварливо передразнила старика:

— Дала не дала... фофан ты и есть фофан. Опять вон сегодня Клавка две штуки в сторону отставила. Со щербиной, мол. Подглазья намажет какой-то зеленью, вот и блазнятся щербины. Профура! Ей-то, богатой, ничто ни-

полном, а тут... Юрка вон уже который раз про цветной телевизор заговаривает.

— Ну так дай и Юрке, чего ж. На службе у меня полный порядок, хлопцы не забижают.

Старуха молчит, что-то соображая. Потом говорит:

— Теперь уж Юрке только недели через две...

Поужинав, дядя Тарас отдыхал—читал газетки, смотрел телевизор. После программы «Время» выпивал стакан холодного чаю и отходил ко сну.

На другой день раным-рано с мешком под мышкой бежал на службу.

Так и шла жизнь изо дня в день, из года в год по одному распорядку, нарушить который, казалось, ничто не могло вовек.

Но вдруг во всех газетах, по всем телевизорам затрубили, загалдели, застрожились... Дядя Тарас растерянно спрашивал у старухи:

— А что, девка, уж не всерьез ли берутся, а?

Старуха, мельком взглянув на старика, махала на него рукой:

— Подь ты, фофан!—это означало, что она в глубоком душевном расстройстве.

С Петром Ивановичем встречались по утрам, как и раньше: дядя Тарас из ворот, начальник колонны—в ворота.

— Здравствуй, дядя Тарас.

— Здравия вам, Петро Иванович, желаю.

Останавливались.

— Значит, говоришь, того, ребята стали меньше потреблять?—голос начальника теперь был гораздо веселей, лицо светлее.

— Так точно, Петро Иванович, совсем мало,—дядя Тарас вымученно улыбался, дергал плечом, за которым висел тощий мешок, и вяло перегонял из одного угла губ

в другой сигарету, которая теперь не дыбилась, а никла долу.

— Неужели ж конец, а, дядя Тарас?—спрашивал Петр Иванович негромко и как бы воровато, будто боялся спугнуть засветившуюся надежду.

— Об том же, Петро Иванович, все времечко думаю,— говорил дядя Тарас со скучной безнадежностью.

Немного помолчав, расходились...

Вскоре начальник колонны и дядя Тарас перестали встречаться в воротах. А еще через какое-то время старик положил перед Петром Ивановичем заявление об уходе со службы.

— Мы свое дело, как уж смогли, сделали. Теперь вам, молодым, державу крепить.

— Жалко отпускать тебя, дядя Тарас,— сказал добросердечный начальник колонны.

— А мне, Петро Иванович, думаешь не жалко? Аж до слез жалко,— отвечивал дрогнувшим голосом дядя Тарас.

Водители тоже сожалели:

— Да ты что, дядь Тарас! На кого нас бросаешь?

— Поясница, сынки, стала донимать, язви ее. Да и жизнь, сами видите: покурить-поговорить ни с кем нельзя.

— Верно, ушло от нас веселье,— посетовал Василий Хлопотов.

— Да ведь надо ж хоть маленько и внуков побаловать.

— Но и нас не забывай. Проведывай хоть изредка.

— Уж это непременно, сынки, непременно. Не за морем живу...

Без дяди Тараса заметно скучнее стало. Водители часто вспоминали его. Потом, как водится, начали забывать проворного старика.

А он тем временем баловал внуков, справлял разные

дела по дому да прислушивался к шуму-гаму, который набрал невиданную дотоле высоту. Попервости дядя Тарас надеялся в душе, что, как и всегда, это скоро кончится, однако стало походить, что на этот раз—бесповоротно.

— По-твоему-то как—обращался к старухе.

Та одаривала его крутым недобрим взглядом и ничего не говорила, только, отвернувшись, вздыхала тайком. Через какое-то время вздыхать перестала, хотя по-прежнему молчала. Вот это-то молчание без вздохов и стало для дяди Тараса слабеньким предвестием воскресения надежды—значит, что-то такое тонкое чутье старухи угадывает. И в самом деле, шум-гам начал мало-помалу спадать. Дядя Тарас воспрял духом. И все больше убеждался, что не напрасно: из-под ее насупленных бровей взгляды все больше мягчали. И вот однажды она сказала, конечно, как всегда насупленно, однако ж вполне миролюбиво:

— Чем пялиться на меня, фофан, сходил бы в гараж да навестил приятелей-то своих...

— Здравия вам, хлопцы, желаю!—возвестил дядя Тарас, явившись в колонну.

Ему были рады. Правда, радость была сдержанная.

Прошел по всем боксам, по цехам, разным службам, во все укромные места, конечно же, заглянул. Везде его спрашивали:

— А не думаешь ли, дядя Тарас, возвращаться на свою службу?

— Да как вам, родные, сказать...

Правильно,—согласился Василий Хлопотов,—рановато: веселье наше пока вокруг колонны бродит. По праздникам лишь заглядывает, да и то робко. Но чуёт, дядь Тарас, мое сердце: вот-вот обстановка, как говорится, нормализуется. А пока давай покурим просто так, на сухую...

Покурили, про то, про се поговорили и распрощались.

— До встречи, дядя Тарас:

— Знамо дело, сынки!—И направился дядя Тарас домой, унося в карманах пиджака две порожние бутылки. Всего лишь две, но зато свежие, незапыленные...

Ну вот, кажется, все и утихомирилось, унялось.

— Дак чё, говорю?—скупо, лишь в уголках губ дрогнули какие-то жилочки, улыбнулась старику старуха.

Дядя Тарас живым духом собрался, снарядился, сунул было в карман матерчатую авоську, но старуха увидела и отняла.

— Да сколь ты в ней, фофан этакий, принесешь-то. Завтра с мешком пойдешь. А сейчас иди определись на службу—все по закону должно быть...

Дядя Тарас еще только дошел до ворот колонны и уже понял: вернулось веселье. Василий Хлопотов—лицо красное, распаренное, кепка на затылке—брел от одного бокса к другому, залихватски распевал:

— «Вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской...» — Увидел дядю Тараса, раскинул руки, пошел навстречу:— Хо-о, мужики! Кто к нам идет! Встречай гостя!—заложил в рот два пальца, засвистел.

Сбежались хлопцы, обдавая дядю Тараса винным запахом, принялись его тискать, обнимать, сочно лобызать. Повлекли в укромный уголок в мехцехе, поднесли полный граненый стакан:

— За долгожданную встречу, дядя Тарас!

— Не, не, не, сынки!—дядя Тарас решительно заслонился ладонью. А то вдруг Петро Иванович ненароком заглянет.

— Хо, едришкина шишка, тебе-то что Петр Иванович? Ты же у нас не служишь.

— А ежели,—дядя Тарас, затянувшись сигаретой, плутовато прищурился,— а если, говорю, надумаю?

— Правильно! А поясница-то как?

— Когда державе тяжко, поясница, родные, подюжит.

— Вот это умная речь!

— И будем мы опять у тебя особой финансовой статьей.

Конечно же, дядя Тарас пропустил эту подначку мимо ушей. Он поднялся:

— Ну, хлопцы, надо наведаться к Петру Ивановичу. А вы уж культуру-то соблюдайте—может, мне завтра убирать-то...

И пошло все по наилучшему распорядку прошлого времени.

Когда дядя Тарас, придавленный битком набитым мешком, выходит из ворот автоколонны, в ворота входит Петр Иванович:

— Здравствуй, дядя Тарас.

— Здравия вам, Петро Иванович, желаю.

— Значит, говоришь, ребята опять того—потребляют?—в голосе начальника безысходность, вид пасмурный.

— Так точно, Петро Иванович, опять!—в голосе дяди Тараса радость, которую он всякий раз старается сдержать, загнать вовнутрь, но всякий раз у него это не получается.

— Неужели ж все по-старому, а?

— Даже не верится, Петро Иванович!—сигарета дяди Тараса задиристо вздыблена...

ДВЕ АННЫ

В магазине большого села Богдановки произошел конфузный случай. Старуха Анна Самарина, или по-уличному просто баба Нюся, купила буханку хлеба, кило пшена и месячную норму—одну пачку—грузинского чая по талонам. Складывая покупки в сумку, перемолвилась словом-другим с товарками и пошла домой. Однако с полпути вернулась встревоженная и от порога с осуждением продавщице, которую тоже звали Анной:

— Дак, тезка, я подала тебе чайные талоны, чтоб ты один отрезала и остальные возвернула. А ты чего-то все забрала.

— Отдала я их тебе,—отозвалась продавщица, взвешивая сахар.— Поищи хорошенько.

— Дак, чего нет, хоть ты заищись,—едко улыбнулась баба Нюся.

— Не знаю, не знаю,—сказала Анна безразлично.

Это безразличие оскорбило старуху.

— Вы гляньте на нее: не возвернула и ничего не знает она. Вот и оставайся до конца года, с чем знаешь.

— Да не нужны мне твои талоны!—возвысила голос продавщица.

Баба Нюся тоже возвысила голос:

— Вот и возверни, коли не нужны. Как я без них в экую-то пору лихую? Талоны документ государственный. В войну вон я работала в лесхозе разнорабочей, дак хлебные карточки...

— Хос-поди!—продавщица всплеснула руками, ударила себя по крутым бедрам, неприязненно уставилась на старуху, дескать, ну как тебе, бестолковой, доказать, что не нужны мне твои талоны? А глаза старухи насмешливо поощряли: ну, доказывай, доказывай, тезка,— послушаю.

Анна обозлилась, подбоченилась и выпалила спесиво

в блеклые старушечьи глаза, как главный свой козырь выбросила:

— Да я этого чая и без всяких талонов возьму, сколько захочу. И никого вас не спрошу!

— Вот уж правда, тетка. Спасибо, раскрылась перед людьми и все доказала,— сурово и сухо проговорила баба Нюся.

А в это время чья-то рука протянула ей подобранные на полу, уже затоптанные чайные талоны. Приняла их старая, и так же нехорошо, так конфузливо сделалось на душе...

* * *

В начале следующего месяца баба Нюся Самарина, придя в магазин, попросила буханку хлеба, печатку хозяйственного мыла и подала те затоптанные чайные талоны.

— Один, тетка, отрежь, остальные возверни,— и засмеялась коротко, как бы винась за давешний свой конфуз.

Продавщица Анна, не взглянула даже на талоны, насупленно—не простила обиду—спросила:

— Сколько?

— Чего?—не поняла баба Нюся.

— Чаю тебе—сколько?

— Дак норму, сколько ж,— подвинула талоны поближе к продавщице.

— Уже без нормы. Бери сколько знаешь.

— Свободно, что ль?—удивилась и обрадовалась старуха и заторопилась забрать талоны.—Тада давай две вачки.—Подумала: две—это ж талонная норма до конца года, а на октябрьские праздники обещался приехать сын Геннадий, надо будет одарить и его чайком, может, в городе-то талоны не отменили еще. Да и Верунье с Валентиной, дочерям, тоже передать надо.—Али давай уж, тетка, четыре.

Продавщица поставила на прилавок четыре пачки. Пока щелкала на счетах, баба Нюся подумала: «А талоны-то пропадут теперь, что ли?» И опять подала их, сказала вкрадчиво:

— Отоварь, тезка, и их.

— Отменены они, говорю, чего отоваривать-то.

— Дак тада как?—пришла в замешательство старуха.

— Если надо, бери хоть двадцать пачек.

— Да на что мне аж двадцать-то! Пушай и другим до-
станется. А куды ж теперь талоны?

— Ой, Боже мой!—сокрушенно выдохнула Анна.—Да выбрось—и все дела.

— Как это—выбрось!—испугалась баба Нюся, живо взяла талоны, сунула в карман жакетки. Ей все время помнились военных лет хлебные карточки. Такие же синие, как и эти чайные талоны. Вся ее жизнь зависела от маленьких квадратиков и потому берегла их пуще, чем самое себя,—за Бога, за иконку то есть, прятала.—Как, тезка, выбрось-то! Это ж документ, говорю. Государством даденный. На нем печать стоит. А потому—отоварь,—потребовала баба Нюся и протянула продавщице талоны.

Анна, как в тот раз, глаза в глаза скорбно уставилась на старуху: ну ничегошеньки уже не смыслишь. И читала во встречном взоре: да, тезка, с годами поистратила соображение, но чтоб совсем уж ничего не смыслила—не правда. Чудесно понимаю, что опять стало вдоволь чаю, бери сколько твоя душа пожелает, но с талонами-то что? Ведь в них, как во всяком документе—сила. Не простая, а—государственная. А вот этого-то тебе понять не дадено...

Продавщица выхватила из скрюченных, заскорузлых пальцев старухи талоны, нервно и ненавистно скомкала их, швырнула куда-то в сторону, потом швырнула на прилавок еще две пачки чая.

— Отоваривайся!—Щелкнула костяшками.—Двенадцать сорок с тебя за всё.

Баба Нюся развернула платочек, пожаловалась:

— Дак не хватает у меня. Только вот десятка да пятачок. Как же теперь?

— Думай—как. Да поживей—очередь вон за тобой.

— Дак что, тезка, думать, убавь, наверно, две пачки.

Продавщица взяла две, только что выставленные.

— Не энти,— возразила баба Нюся.— Энти талонные. Бери свободные.

— Да какая разница-то,— уже не в силах возмущаться, сказала продавщица.

— Та и разница, что энти свободные, а энти талонные,— пояснила баба Нюся...

* * *

Шла домой, думала: молодая ты, Анна, не пережила и малости того, что на мою долю выпало. И хорошо, слава Богу, дева. А с другой-то стороны плохо—цена жизни тебе неведома. Говоришь, мол, сколько захочу, столько и возьму, никого не спросясь. Чем принародно похваляешься-то? Или уж никакой ни перед кем отчетности не стало? Или всё, чем торгуешь, как дождь, с неба сходит? Ой, не закидывай шибко-то высоко голову—споткнешься не ровен час, никто не знает, что нам Господом на завтра уготовано.

...Девятого мая Анна Самарина, как узнала о победе, сгрэбла в охапку сына и двух дочек и заголосила—дала волю, выпустила наружу чувства, которые копились в душе все четыре года. С одним ложилась, с одним вставала: «Жив, не жив?» Вон уже сколько баб распатланных откаталось по полу. А ее Тимофея Господь все миловал. Случалось, что подолгу писем не было, потом приходили. Последнее Анна получила позавчера: жив-здоров, вот фрица одолеем до конца и—домой.

Вот наконец-таки и одолели. Стала ждать мужа. Проворной сделалась, прямо помолодела, будто спало с плеч все, что эти годы давило. И про себя в сердце радова-

лась перед овдовевшими товарками: ее муж жив и невредим...

Поторопилась, ой, поторопилась впустить в сердце радость. Пятнадцатого мая в хмурый моросный день пришла на Тимофея похоронка. И слегла Анна Самарина. Ни печь затопить, ни воды принести—совсем, прямо всерьез помирать собралась. Подумывала уже батюшку позвать, чтоб отсоборовал. Один раз девчонок отправила со старухами в тайгу за колбой—в доме-то шаром покати: ни картошки, ни капусты, ничего—весна. А Генашке—шесть годков мальчонке было—подказала, как достать из-за иконки хлебные карточки и деньги, и отправила в магазин: «Дядя Костя хлебца тебе даст, а девчата колбы принесут. Вот и поедите. Да смотри ж, сынка, чтоб собаки буханку не отняли». Побежал Генашка.

Вернулся в слезах без хлеба, без карточек и без денег. «Отняли?! Кто?». Вот теперь уже всем четверым ложиться да помирать. «Не реви. Кто отнял-то?»—«Дядя Костя»—говорит.—«Да не, может этого быть! Потерял, поди, негодник?»—закричала на парнишку и вскочила с постели, как и не хворала. «Нет,—твердит,—дядя Костя забрал карточки, деньги и сказал: ступай домой. А хлеба не дал». Да это как же?! Константин Ковшов, фронтовик, серьезный человек... Схватила сына за руку, а ну, пошли. Это что же, совсем, что ли, в людях совести не стало, если уже и Константин...

Из проулка вышли и—вот на этом самом месте—Константин навстречу. В одной руке костыль—еще в сорок третьем на деревяшке с фронта пришел,—под мышкой другой буханка хлеба. Шагах в пяти остановился. Лицо красное от натуги. Костылем в землю ка-а-к даст! «Что ж ты, девка, так халатно ведешь себя? Судьбу семьи в ручонки мальчика вкладываешь...» И пошел, и пошел чествовать. Отдал буханку. «Чего подхватила-то? Слышал, хвораешь».—«Хворала. Теперь вот излечил ты меня».—«Во как,—улыбнулся, вытер рукавом лицо.—Ну, ступай

да думай наперед, что делаешь», — и повернул назад...

«Ах, Константин, Константин, — вздохнула баба Нюся, — царствие тебе небесное».

Вот он-то, тезка, не похвалялся перед людьми, что, мол, могу, никого не спросясь, хлеба взять так, без карточек. Хотя, наверно ж, брал тихонько. Нужда на это толкала — вон какая оравица-то у него была. А вот ты, Анна, напротив, от сытости и довольства своевольничаешь. Да еще и гоноришься тем. А что я бестолковая, то твоя правда. Изжила свой век.

— А все ж какое-никакое соображеньице еще осталось, не отнял Господь, — проговорила вслух баба Нюся и свернула в свой проулок.

1990 г.

ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ

...**П**омнишь, Славка, анекдотец: русские на работе говорят о женщинах, дома с женой о работе. В настоящую минуту я, ха-ха, не русский. Потому что сижу на работе и буду рассказывать тебе о ней, то есть о работе. Делать что-то ничего не хочется, так давай немного поплачусь тебе в жилетку.

Значит, дела мои идут ни шатко ни валко. По самой простой причине: работать некому—такой народец подобрался. Значит, кроме меня, зава—как ты знаешь!—в отделе еще пять человек. Сейчас я тебе каждого охарактеризую, и ты все поймешь.

Начну со Стрекалова. Откровенный лоботряс и прогульщик. Вот и сегодня не нашел дорогу в контору, которая его худо-бедно, а кормит. Я б его давно в три шея выпер, но шеф мой Игорь Макарович (рассказывал я тебе о нем при встречах) говорит: Стрекалова трогать не смей, он молодой специалист, на его стороне закон, который не любит, когда его без особой надобности нарушают—греха не оберешься. Так что у тебя один путь—воспитывать и еще раз воспитывать, Алик. (Шеф меня не Олегом Николаевичем, как уже все в конторе, называет, а всё Аликом. В душе, Славка, злюсь. Но ведь шеф же так называет, поэтому делаю вид, что мне страшно нравится). Ага, Стрекалова воспитаешь. Но не иди же против воли шефа (к тому ж, мне доподлинно известно, что Стрекалов—протеже шефовой жены). И вот воспитываю лоботряса—ласково журю, моральки почитываю.

Теперь про Уварову. Вот напротив меня сидит. Пень пнем. Ну ничегошеньки уже не соображает. Одно на уме—самой же придуманные болезни да экстрасенсы. На днях говорю ненавязчиво так шефу: трудновато, дескать, уже Ксении Федоровне... А он: «Христос терпел и нам велел.

Давай, Алик, и мы потерпим. Ей до пенсии полтора года осталось. Это ж сущий пустяк в сравнении с тем, что я ее терплю вот уже двадцать три года. Эх, Алик! Знаю, парень ты не из трепливых, поэтому скажу тебе по секрету: с Ксюшей-то у меня такой ли романище был! Прямо «Война и мир»! О-о, стоила она того, стоила, Алик, чтобы и воевать за нее со многими и со многим мириться ради нее. Вот такой, Славка, у меня шеф! Восторгаюсь! И вот какая, Славка, мысль. Ни по возрасту, ни по чину мы не ровня с шефом, а вот, чего раньше не бывало, разоткровенничался передо мной. Почему?.. Ой, Славка-а, веселит это мою душу. К тому ж, моя жена сон видела: я и мой шеф на качеле качаемся. Сидим рядышком и качаемся... Жду чего-то. А поэтому какая тут работа.

Но идем дальше. Телегин. Балабон из балабонов. И высшего класса потаскун. В отделе от него, как от козла молока. Шефу я—со смехом, конечно,—так и говорю. Шеф в ответ тоже смеется: «А нам, Алик, и не надо его молока. Проживем до ста и дальше на тех дефицитах, которые нам тесть Телегина регулярно поставляет...» Может, Славка, тоже слышишь: из коридора хохот доносится. Это Телегин рассказывает мужикам о своих вчерашних похождениях.

Следующий Харитонов. У этого не голова, а ЭВМ. Не он бы—всю контору, а не только мой отдел хоть ликвидируй. Но—одна беда... Сидит сейчас в своем углу и думает, если я пишу что-то, то вроде и не вижу ничего. Вижу. Полстакашка пропустил для тонуса и дальше трудится. Так с понедельника и до пятницы. Да и черт бы с ним. Но то в вырезатель залетит, то на чей-нибудь кулак налетит, то с женой скандалит. Со всех сторон телеги на него к нам катятся. А повоздействовать, Славк, никак на него нельзя. Даже шеф не может ему словечко построже сказать—ведь сразу же психанет и в любой кооператив уйдет. И нам—крышка. Так делаем вид, что все нормально, и молчим.

Ну и, наконец, Краснов. Этот—дурак. Понятно, не в прямом смысле, а в том, что очень совестливый. А так—умняга. Составил план реформы нашей конторы. Дельные вещи предлагает. Не бредовые. Но пострашнее бредовых. Если их принять и внедрить, то контора должна будет в поте лица хлеб свой зарабатывать. Конечно, хороший хлеб. Но, к примеру, в моем отделе—я тебе уже обо всех рассказал—кто способен в поте-то? И в других отделах то же самое... Шефу Краснов надоел уже со своим планом. Наверняка скоро скажет: «Готовь, Алик, компромат на нашего революционера»... И придется готовить. Это проще простого. Сидел бы, говорю, дурак, да и сидел, нет, ум свой показать надо...

Вот такая, Славка, у меня гвардия.

А теперь немного о делах семейных. В принципе, все у нас...

Славк, что-то шеф требует меня к себе. Подожди минут десять, и я продолжу...

...Привет, Славка, продолжаю. Но не через десять минут, а через две недели. У меня большие перемены по службе. Теперь я уже не зав... В общем, если коротко, призвал меня тогда шеф и говорит: «Значит, сколько, уже четыре года в завах сидишь, Олег Николаевич?» Понимаешь? Впервые по имени-отчеству назвал. И я обо всем догадался. Видишь ли, шефова зама скоропостижно забрали выше. Правда, карандаши чинить—на большее то он не годится. Клетка на шахматной доске освободилась, и шеф на нее—меня. Зам я теперь, Славка. При сватовстве шеф сказал: «Воду вокруг меня ты, Олег Николаевич, не мутил, правду не искал, с реформаторскими планами не лез. Надеюсь, и впредь так будет...»

Точно, Славка, все так и будет. Зачем мутить, подсиживать—Игорь Макарович прекрасный во всех отношениях человек и руководитель, только вот... Славка, если ты мне друг, а не онуча, то—т-с-с!.. Моей жене лечащий врач Игоря Макаровича шепнула, что у шефа—беда-то, Слав-

ка, какая!—рак двенадцатиперстной кишки. К тому ж безнадежной стадии. А ему без трех месяцев семьдесят. Жалко!..

Ну, ладно, главное я тебе сообщил и закругляюсь. Тут от телегинского тестя мой персональный посланец пришел—ха-ха!—так что некогда.

Привет семье.

Пиши.

1990 г.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ

В середине шестидесятых годов светлой памяти Александр Никитич Волошин, автор популярного в свое время романа «Земля Кузнецкая» в узком кругу рассказал (забыл уже, по какому поводу) эпизод, который я излагаю так, как он мне запомнился.

Весной 1930 года прибыл на Алтай в числе других уполномоченный двадцатипяти тысячник Сидоров — назовем его так — проводить в деревнях сплошную коллективизацию. У других дело шло не Бог весть как, у Сидорова же — за милую душу. Чем брал? Каким свойством, средством ли обладал?

Приходил в деревню, собирал народ, держал речь:

— Значить, мужики, а также бабы, пора начинать новую, светлую и, знамо дело, зажиточную жизнь. Значить, как говорит товарищ Сталин, хватит, поединоличничали, помыкали горе, побатрачили на кулака-мироеда. Ликвидируем этого мироеда под самый корень как вражеский исплотаторский класс и зачем сообща жить колхозом. А значить, кто желает добровольно идтить навстречу колхозной заре, дружно подымай руки... Так, одна... две... Две. Дружней, дружней, дорогие мужички и бабы... Да вы что, едришкина шишка! Ведь трактора, совместная обработка земли и всяческая коллективная жизнь. Даешь поголовную добровольность, товарищи крестьяне!.. Ну, так чего вы?

— Мы, человек хороший, пока воздержуемся, — несмело отвечали мужики. — Вишь ли, дело новое, незнамое, надоть погодить, хорошенько подумать. А то как бы не того — не хужа.

— Чего годить-думать? Товарищ Сталин, говорю, что вам говорит?

— Дак оно, конешно, говорит товарищ Сталин двиствительно верно. Но погодить—будет не во вред.

Сидоров так и этак убеждал крестьян, сказку про умирающего отца, сыновей и веник рассказывал, мол, люди спайкой сильны. Толку никакого. Мужики стояли на своем:

— Сперва надо поглядеть, как эта спайка у других пойдет, а потому—погодим.

— Да на кого ж вы глядеть станете, если все, как мы, годить будут?

— Так опять же, дело-то—добровольное.

— Правильно. Вот и подымай добровольно руку. Ну, дружней!

— Не, погодим пока...

Другой в такой обстановке как начинает действовать? Вспомнит Господа Бога да кулаком об стол—хрясь! Нет, уполномоченный Сидоров не из той породы дуроломов был. Крик-гряк, считал, делу не пособник.

— Значит, слово ваше окончательное? — спрашивал Сидоров, — Не записывается в колхоз?

— Погодим...

— Жаль, мужички. Шибко, как говорится, жаль.— Некоторое время уполномоченный о чем-то отрешенно думал, издавал тяжкий вздох, после чего как бы нехотя запуская руку за голенище сапога и вытаскивал...

— Что, по-вашему, Сидоров вытаскивал, — помню, спросил нас Александр Никитич Волошин.

Мы в ответ:

— Наган, наверное.

— Нет.

— Гранату?

— Нет.

— Тогда какой-нибудь грозный документ.

— Не угадали. И не угадаете...

Вы тоже не угадаете. А потому говорю: доставал уполномоченный Сидоров из-за голенища самую обыкновенную черную телефонную трубку. Прикладывал к уху, говорил в нее, кашлянув:

— Але. Але, барышня?! Здравствуй-ка, душа моя. Эт уполномоченный Сидоров с Алтая. А соедини-ка меня, милая, с товарищем, значить, Сталиным—надо покалякать по одному пустяку. Добро, красавица, жду... Але! Товарищ Сталин?! Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! Говорит уполномоченный Сидоров с Алтая... Дела? В целом отлично идут дела, Иосиф Виссарионович, везде сто-процентная коллективизация—притом самая добровольная. Но, как говорится, в семье не без урода. Значить, на настоящий момент я в Ивановке. Провел по всем правилам агитацию, а товарищи мужики и бабы говорят, мол, хотим погодить... Что?.. По всем, товарищ Сталин, правилам, говорю—ласково, местами с прибаутками и в три захода. Ответ один: погодим. Вот такая, значить, политическая закавыка получается. Мое личное мнение, в этой Ивановке контра и другой вредный алимент верховодит... Да, товарищ Сталин, слушаю... Что? Отдаете приказ бонбить Ивановку с ирапланов?! Товарищ Сталин, одну ми... Минуточку, Иосиф Виссарионович!—Сидоров отводил руку с трубкой за спину, всполошенно и яростно шептал собранию:—Беда! Беда, мужики! Вождь дюже осерчал на вас—вы ему всюё картину коллективизации портите. Сейчас из Барнаула прилетят ирапланы и станут вас бонбить! Живо, язви вас, решайте насчет добровольности!

Собранием овладевал ужас. Бабы ударялись в вой и плач. Мужики подавались вперед, к уполномоченному:

— Слышь-ка, записывай. Мы—согласные...

—То-то, братцы. Ой, слухали б вы, как он ... — Сидоров опять прикладывал трубку к уху.—Товарищ Сталин, конечно, извините, но, может, не надо бонбить Ивановку, а? Значить, пока мы с вами разговаривали, мужички покумекали и уже согласны... Знамо дело, товарищ Ста-

лин,— вполне добровольно... Хорошо, скажу... передам сей же час... Спасибо, до свидания, Иосиф Виссарионович.— Утирая шапкой взмокший лоб, Сидоров запихивал трубку за голенище. Позабыв про собрание, долго о чем-то думал. Очнувшись, улыбался народу:— Чуть, братцы, не позабыл. Товарищ Сталин велел передать вам большой горячий привет и, как, значить, говорится, всякие пожелания... А теперь подходи записывайся. Только давай без толкучки...

1991 г.

ДРУГИ ДОРОГИЕ

Из колхоза «Рассвет» сбежал председатель. Не проработав и полугода. Был он человек со стороны. Трезвый, неглупый, умел вперед заглянуть. Заглянул и впал в тоску: неизбывными, необоримыми виделись здешние запустение, разгильдяйство, бесконвойность да дразги. И как, кстати, и его предшественник—тоже сторонний,—убежал очертя голову. Ну и скатертью тебе дорожка, не опечалились колхозники. Демократия и до нас дошла, выберем из своих—хватит пришельцев.

И вот собрали общее собрание, чтобы выбрать нового мученика власти. Был на этом судьбоносном для колхозников форуме и молодой сотрудник районной газеты «Путь к коммунизму» Федя Куценко. Его глазами мы и будем следить за ходом форума.

Как и положено, начали с выборов председателя собрания. Обычно процедура эта занимает какие-нибудь полторы-две минуты, а тут распалились такие страсти, такое развернулось сражение...

Проход делил зал на две равные половины. Правая хотела, чтоб вел собрание бухгалтер Сковородин, а левая выдвигала прораба Жигалкина. Оба изворотливы, глаз да ухо мужики. Живы не будут, а какое им надо, то решение и протащат—не раз проверено. Вот и началась баталия. Дирижировала ею, стоя за столом президиума, секретарь сельсовета Валентина Ягодина—тоже в таких делах человек испытанный, она обладала большой выдержкой, а главное, была ни правой, ни левой, а сама по себе.

— Сковородина, други дорогие, отвожу начисто,—поднялся коломенской верстой немолодой уже Николай Смердов, шофер,—потому как он ни на волос не годится си-

деть на такой должности. Не иметь, как говорится, законного права...

— О правах, дядя Николай, говорить не надо,— заметила Ягодина.

— Не иметь права!—резко рассек ладонью воздух Смердов.—Левые поддержали его гулом одобрения, а правые отозвались возмущенными возгласами. Шофер обратился к правым:—И нечего, други дорогие, нечего.

— Садитесь, дядя Коля, если у вас всё.

— Всё будить, когда кончу, а я еще и не начал. Значить, голосуй, Валентина, товарища Жигалкина, сажай его на рабочее место и пушай давить на газ—народ ему целиком верить.—Опять одобрительный гул левых и возмущенные восклицания правых.—Дальше. Если подходить строго, то, други дорогие, с гражданином Фесуненко, нашим главным экономистом, давно уже пора разобраться. Значить, терем отгрохал, а в нем хоть один купленный гвоздь есть? Нету! И бухгалтерии у нас будто тоже нету.—Смердов покосился на Сквородина.—Дальше. Утром гражданин, значить, Фесуненко идет на работу с красным носом, вечером этим носом пахать дорогу домой...

— Дядя Николай, какое отношение к выборам председательствующего имеет Фесуненко?—спросила Ягодина.

Левые снисходительно засмеялись, эх, дескать, Валентина, простая ты душа. А на правой половине встал юркий плотник Гаврилов, застрекотал, как лобогрейка:

— Кроме главного экономиста, у нас ведь есть и другие главные. Тогда и про них надо критику сказать. Вот, к примеру, главный агроном Тяткин. Вся деревня знает, что он...

— Гаврилов!—прервала плотника Ягодина.—Тяткин ведь тоже в председатели собрания не выдвигается. Говори по существу...

Теперь по правым рядам прокатился снисходительный смехок: эх, Валентина... Кто-то из правых выкрикнул:

— Он к существу и ведет! Сказывай дальше!..

— Все, говорю, знают, а Смердову не успели сказать, что Тяткин родную тещу обобрал: избу ее продал, денежки в карман, а старушонку поморил год за печкой у себя да и переправил к шуряку. Так-то вот.— Гаврилов скосил глаза на левых, съязвил:— Други дорогие. Так что, Валентина, ставь на голосование товарища Сквородина. Мы ему доверяем. А Жигалкина из списка долой, потому что его девчужка на пианинах с утра до вечера бренчит, отдыхать трудовому населению не дает. Взяли, понимаешь, моду обучать культуре на нервах колхозников. Одним словом, народ единогласно Сквородина хочет.

— Значит, поступило два предложения,— начала было Ягодина, но тут на левой половине вскочила, как с горячей сквороды, дородная продавщица Клава, прозванная толстогубой, так как в магазине есть еще Клава-кривоногая.

— Нечего за весь народ говорить. К примеру, все женщины не Сквородина, а одного Жигалкина хотят...

Слова Клавы-толстогубой накрыл хохот всего зала. Потом голоса правых:

— Она не колхозница! Лишить ее слова!..

— Да, не колхозница!—с вызовом и превосходством бросила Клава-толстогубая.— А Михаил, муж мой? Колхозный тракторист. Награды имеет. На слеты ездил. А сама я—женский совет. И вообще теперь разрешили привализм, или как там его. Свобода шас.

— Вот потому и лишить!

— Да пушай скажет...

— Решить голосованием ее речь!

Валентина Ягодина постучала карандашом по графину:

— Товарищи! Неколхозники пользуются правом совещательного голоса. Говори, Клавдия, только по делу и короче.

— И скажу! Вот вы расхохотались—намеком учуяли, да не там, где надо б. Я вам все прямо, без намеканий ска-

жу. Собрание сейчас же отдать надо в руки Жигалкина, лучше его никто за правду не стоит—это весь женсовет знает. А про Тяткина так скажу... Ты, Валентина, по графину не стукай. Человека грязью облили, а того никто не сказал, что он хороший специалист и семьянин. Уж, в крайнем случае, не чета Фесуненке, который, правильно говорил дядя Коля Смердов, каждый день бухой. А где, думаете, бухает? От кого сегодня утром позагородками домой крался?..

— Клавдия!—строго сказала Ягодина.

— А что Клавдия-то? Я правду говорю. А у кого в прошлую среду ваш Фесуненка ночевал?..

— Сегодня к тебе наведается, пока Мишка твой в отпуску,— хихикнул дед Горохов, сторож.

— Типун тебе на язык!—взвилась Клава-толстогубая.— Тьфу на тебя, бес старый!

— Клавдия, лишаю тебя слова за непристойное поведение. Садись, садись...— И чтобы перекрыть шум-гам, Ягодина возвысила голос:— Приступаем к голосованию...

Но как правые могли допустить голосование, не дав достойного отлупа левым? Дали—потребовали отвода кандидатуры в председатели собрания Жигалкина, поддержали Сквородина, после чего исхулили главного агронома Тяткина и исхвалили главного экономиста Фесуненко. Само собой, левые не могли этого оставить просто так. Хором отвергли Сквородина, потребовали посадить за стол президиума Жигалкина—сейчас же и без бюрократства. Затем произнесли горячие слова в защиту Тяткина и вдобавок к оглашенным уже грехам Фесуненко огласили новые... Валентина Ягодина стучала карандашом по графину, призывая к порядку, но ее уже никто не слушал—собрание пошло вразнос. У молодого сотрудника районной газеты Феди Куценко стало складываться впечатление, что колхозники чем дальше, тем меньше представляют, зачем они здесь собрались: кандидаты в председатели собрания Сквородин и Жигалкин все

больше забывались, и словесная бойня, грозясь перерасти врукопашную, шла из-за Фесуненко и Тяткина. Но—недоумевал Федя—они-то, действительно, при чем тут?

Карандаш не выдержал, сломался, Ягодина швырнула оставшийся в руке обломок на пол, махнула на собрание и сошла в зал. Тогда только мало-помалу установилась тишина. Все в замешательстве чего-то ждали, но чего—никто не ведал. И вот подал голос старик Горохов:

— Ты, Валентина, того, значит... извини нас, басурманов, и не сердчай. Подымись и действуй.

— Правильно,— поддержала Клава-толстогубая.

Ягодина, несколько поколебавшись, без единого слова поднялась снова на сцену.

— Перед началом голосования надо избрать счетчиков,— сказала.

Избрали. Два от левых, два от правых. Ягодина поставила на голосование кандидатуру Сквородина—в порядке поступления. Сквородин набрал половину плюс пять голосов. Правые возликовали, левые—запротестовали. И опять—содом и гоморра. Победители требовали, чтоб Сквородин занял «свое место», проигравшие требовали переголосования. Топанье, свист, махание кулаками. Ягодина схватилась за голову, съежилась и не знала, что делать. Вдруг протяжный, истошно-пронзительный вопль:

— О-о-ой!

Вмиг установилось полное безмолвие. Клава-толстогубой это и требовалось. Поднялась, приняв воинственный вид:—Незаконно! Женсовет требует Жигалкина!—садна кулаком по спинке впереди стоящего кресла.

— Сядь, Клавдия,— сказала Ягодина и, воспользовавшись моментом:—Кто за кандидатуру Жигалкина?

Однако Жигалкин поднялся и заявил о самоотводе.

— Хриstopродавец!—выпалила Клава-толстогубая и, как подкошенная, повалилась навзничь—«упала в обморок». На это мало кто обратил внимание. Когда собрание почти единогласно просьбу Жигалкина удовлетворило,

Клава-толстогубая «очнулась»:—По поручению женсовета объявляю голодовку. Бессрочную! А магазин завтра же начнет бастовать!..

— Да надоело уже, Клавдия!—с сердцем сказала Ягодина и попросила Сквородина занять место в президиуме.

Журналист Федя Куценко взглянул на часы. Выборы председателя собрания длились без малого два часа. Тогда сколько же потребуется времени для избрания председателя колхоза—наверняка на альтернативной основе. Федя впал в тоску.

А между тем Сквородин, поудобнее усевшись на стуле и кашлянув, начал:

— Товарищи колхозники!..

— Разрешите, други дорогие, маленькое замечание, значить,—поднялся Николай Смердов. Председатель разрешил, притом, как заметил Федя Куценко, с удовольствием.—Значить, у большинства колхозников будить, други дорогие, мнение: поскольку твоя, товарищ Сквородин, взяла, то и выдвинуть на должность председателя колхоза Петра Тарасовича Фесуненку и на этом подвести черту, поскольку наша, стало быть, Тяткина, компания стерпела поражение.

— Пр-р-авильно!—встрепенулась Клава-толстогубая и зааплодировала.

— Погоди,—укорил ее Смердов и продолжал:—А, значить, други дорогие, чтоб собрание не затягивать, предлагаю, как говорится, лично от себя: голоса за Сквородина—половина и еще пять—это ж, правду сказать, голоса за Петра Тарасовича Фесуненку, потому и записать их в протокол. Петра Тарасовича от души и дружно поздравить с новой должностью и на этом разойтись по домам для отдыха. У меня, други дорогие, все.

Собрание бурно зааплодировало Смердову за умную речь и одновременно в честь избрания нового председателя Петра Тарасовича Фесуненку. Клаве-толстогубой это

го было мало. Сначала она пробралась к Смердову, обняла и поцеловала в губы, затем пробралась к Фесуненко, тоже обняла и поцеловала в губы. А народ смеялся и аплодировал уже ей...

А через несколько минут новый председатель колхоза «Рассвет» давал интервью журналисту районки Феде Куценко...

1990 г.

ПЕРЕПОЛОХ

Владимиру Мазаеву — писателю, с которым мы ранней весной у меня на даче прикрепили к черемухе дупляной скворечник.

И вот где-то в середине мая в том скворечнике зашуршали хором птенцы. День ото дня все сильнее и пронзительнее. И требовательнее. Родители от зари до зари без передыху таскали им корм, но—как в прорву: орут-надрываются чада, всё им мало жучков-паучков.

Я целыми днями сидел за столом, стучал потихоньку на пишущей машинке. Когда у меня не складывалась какая-нибудь фраза или не отыскивалось, как ни рылся в голове, нужное слово, глядел в распахнутое окно на черемуху. Нет, я, конечно, знаю, что слова на ветках не висят,— но такая уж у меня привычка. И вот как-то в очередной раз глянул на черемуху и увидел: темно-серый, желторотый, высунул голову в лётное окошечко и зыркает по сторонам. Я подивился про себя: «Ишь ты, смельчак какой». А вслух по-свойски—соседи ж как-никак—предостерег:

— Смотри, не вывались, дуралей.

А он мне сверху заносчиво так и непочтительно:

— Сам дуралей! Делаешь свое дело, ну и делай—ври дальше,— и опять завертел головой. Во негодник.

Тут прилетел скворец с червяком и прямо в окошечко, а в нем—голова чада-смельчака, который рот во всю ширь—и червяк исчез в нем. Скворец строго-строго прощбетал что-то своему юнцу—наверное, как и я же, предостерег, что можно вывалиться—и полетел за новым червяком. А желторотый стал опять зыркать по сторонам.

Глядь, родительница летит, он рот во всю ширь—и червяк туда...

Э-э,—догадался я,—смельчак-то ты смельчак, но еще, оказывается, и хитрун большой: высунулся-то, чтоб тебе одному весь корм доставался. А на братьев-сестер тебе, видно, начихать. Нехорошо, стыдно.

— Нехорошо!—послышалось мне, чиркнул воробей, прыгавший по веткам черемухи.

— Стыдно!—пискнула синичка, пролетая мимо скворечника.

— Оч-чень нехо-р-р-ошо!—прострекотала сорока, вертеться на колу.

Вот как оно. Еще и не жил, а уже дожил: уронил желторотый свою честь, и все птицы осуждают его. Но ему, похоже, и на это начихать. Высматривает отца-мать и от нетерпения наполовину уже из окошечка высунулся. Желая ему—какой уж он ни есть—добра, я опять предостерег:

— Ой, вывалишься. А соседский кот цап-царап тебя.

Желторотый опять непочтительно и заносчиво:

— Ага, жди—вывалился! А про кота не сочиняй. Привык на бумаге... Ты давай правду пиши.

— Обещаю,—сказал я неприязненно, рассердившись на хитруна, и склонился над клавишами. Только склонился—вдруг отчаянно-пронзительный ор и шлепок о землю. Всполошенно вскочил, выглянул в окно, так и есть: заносчивый птенец, распутив непослушные еще крылья, барахтался в траве под черемухой. «А если и в самом деле—мелькнула мысль—кошка?!» Глядь, и точно: вон он, рыже-полосатый, кот Тимоха пробирается, весь напружинясь, с соседского огорода вдоль забора. Тут мешкать нельзя! Перемахнул через подоконник, швырнул в кота комочек земли.

— Брысь!

Тимоха—вот кто настоящий-то хитрун!—осадил себя, как ни в чем не бывало сел на задние лапы, прищурился

на меня ну оч-чень почтительно: здравствуй, соседушка, а денек-то, говорю, нынче, а?—прямо радость.

— Брысь, тебе говорят, мошенник!—И ринулся к желторотому.

Он зашипел яро и—от меня. Я—за ним. Он метнулся в малинник и затаился там. Я меж кустами туда, сюда—не видеть и не слышать. Где ж ты, негодник?! А Тимоха, вижу, опять напряжинился и сторожко крадется к дальним от меня кустам малины. Я опрометью наперерез ему. Заслышав мое топанье, желторотый выпорхнул из своего укрытия и ошалело прямо на Тимоху, увидав его, повернул назад... Если рассказывать короче, то желторотый изрядно помаял меня, пока я его изловил. А когда изловил, стал он изо всех сил трепыхаться в моей руке и долбить клювом палец. Да больно. Откуда только сила такая. Отыскал я глазами лестницу, и—к ней. Но вдруг! Не поверите. Скворцы, синицы, воробьи, дрозды, сороки и даже одна ворона—откуда только взялись!—стаей над моей головой. Вьются, галдят, негодуют:

— Что делаешь, злодей! Он же несмышленыш! Отпусти, или мы тебя!..

Втянул голову в плечи, сгорбился, в одной руке птенец—все долбит мой палец, в другой лестница. Кое-как ее подтащил к черемухе, приставил, полез вверх. Птичья стая негодует, от ветра крыльев развеваются мои волосы. **Один дрозд, не увернись я вовремя, точно выключил бы глаз. Добрался кое-как до скворечника, сунул в окошечко птенца, который напоследок слабо уже, но щипнул мой палец, подтолкнул сзади, и он мягко шлепнулся на дно.**

И все, как обрезало—тишина, ни звука надо мной. Поднял глаза: птицы расселись кто на коньке дома, кто на заборе, кто на тополе, кто на этой же черемухе. Вид у всех сконфуженный, виноватый, дескать, сразу-то мы не про то подумали—не сообразили, промашка вышла.

Я смотрел на них и крепко уважал—за отвагу, спайку,

за братство. И, признаюсь, ощущал себя в этом же братстве.

А на крылечных перилах соседского дома сидел кот Тимоха и шурился на меня—насмешливо и хитро. Впрочем, хитрость—это его способ существования. Так что с ним все понятно. Да и с желторотым понятно. Его хитрость, как и заносчивость, непочтительность— от младенческой неопытности и простодушия. А так он хлопец что надо. Вон как, кроха такая, сражался со мной, великаном. По малиннику угонял, аж дыхание сбилось, палец истюкал весь. Нет, настоящий из него вырастет скворец, что надо вырастет.

Внутри скворечника тишина. И кругом тишина. Переполох кончился. Можно опять садиться за машинку.

1991 г.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Лет тринадцать назад в столичной гостинице «Россия» мне довелось несколько дней жить в одном номере с человеком, который представился так:

— Простой коммунальщик из Читы, Изосим Изосимович...

Был он уже в годах, широк костью, с большим, картошкой, носом, общительный и как-то неожиданно ласковый и сентиментальный. Называл меня не иначе как «милый Вова», то и дело—наверное, помня, что коммунальщик всегда и всюду коммунальщик—спрашивал:

— Вам душно? Я приоткрою форточку...

Через некоторое время:

— Вижу, вам зябко, милый Вова. Закрою-ка форточку.

Любил Изосим Изосимович одарить каким-нибудь пушистым—конфеткой, орешком, мандаринкой. По вечерам терпеливая приносила в номер самовар, вазочку с ватрушками или баранками, и мы допоздна чаевничали и беседовали о вещах самых разных—от собирания грибов до космических полетов, от полезности утренней гимнастики до немецкого педантизма. Как собеседник Изосим Изосимович представлял мне тем, что умел слушать. Что бы я и как долго ни говорил, он спокойно и внимательно слушал, потом так же спокойно и обстоятельно что-нибудь к сказанному мной добавлял или возражал, если был о чем-то иного мнения. Словом, хорошо мы с ним беседовали—равно, мягко и доверительно.

Не помню, о чем у нас шла речь, когда пришла мне в голову одна мысль. Не ахти какая, но выскажи ее в ту пору где-нибудь вслух—тебя «не поняли» бы. Изосиму Изосимовичу я доверял. А мысль такая.

В производственных и прочих характеристиках пишут, мол, рабочий такой-то избирался депутатом горсовета,

членом парткома, профкома, куда-то там еще и на этом точка. А ведь человека характеризует—развивал я свою мысль—не сам по себе факт избрания, а то, как он работал в выборном органе. Что полезного, нужного сделал ты людям, кого защитил, наставил на путь истинный, какую проблему сдвинул с мертвой точки, скольких негодяев вывел на чистую воду—вот что характеризует человека.

Изосим Изосимович, терпеливо выслушав меня, с добродушно-снисходительным смешком положил по-отечески руку на мое плечо:

— Ах, милый Вова. Вы еще совсем молодой человек... Кстати, вам не холодно?.. Нет, я все-таки чуть прикрою форточку... Да. Так вот я вам скажу. Факт избрания рабочего человека, допустим, депутатом характеризует его по основной работе. Да, да, по основной, милый Вова. Токаря—как токаря, пекаря—как пекаря, водопроводчика—как водопроводчика. Тут есть одна тонкость, которую следует уяснить. Ведь в выборные органы выдвигаем кого? Ну не разгильдяев же, а лучших товарищей—передовиков, ударников. А цель и смысл избрания—оказание рабочему человеку чести быть на виду и на слуху. Это своего рода—мы ж откровенно разговариваем—награда ему за его энтузиазм, рвение, добросовестность...

— Хм.

— Да, да, милый Вова. А что до работы в выборном органе, то—собеседник мой тоненько засмеялся—там е-е-сть кому работать. Да и много ли, давайте скажем честно, смыслит в экономике, политике, культуре человек от станка, плуга и вентиля. Каждый, милый Вова, должен заниматься своим делом. Надеюсь, вы согласны со мной?

— На все сто.

— Вот и прекрасно. Тогда я приоткрою форточку, потому что, вижу, вам душновато...

— Но давайте рассуждать дальше.

— Милый Вова, ради Бога.

И я стал развивать Изосиму Изосимовичу такую мысль.

Голоса снизу: «Да поймите вы, не руководитель он—меньше рабочего в деле разбирается...»

Голоса справа: «Не руководитель—бездарен...»

Голоса слева: «С самого начала видно ж было: не в свое кресло сел...»

Но—окрик сверху: «Будет руководить!..»

И вот неруководитель уже который год руководит, то есть мучает дело и людей. Почему? А—член партии, высшее образование, дед не раскулачивался, родичей за границей нет...

— Совершенно правильный окрик сверху, милый Вова. Что же вас не устраивает в этом руководителе?

— То, что он—дурак,—если говорить прямо.

— Вы меня изумляете. Его же подбирали, со всех сторон оценивали, на бюро партийного комитета обсуждали—утверждали. И вдруг—дурак. Кто же это определил-то?

— Люди.

— Молва, то есть. Несерьезно. А кто-нибудь квалифицированный определял?

— Да Бог к этому-то я и веду. Каждый должен заниматься своим делом. Только так! Но: в номенклатурных анкетах тьма совершенно ненужных граф, а вот главной нет—«Интеллектуальные способности», назовем ее условно так.

— И слава Богу, что нет! Слава Богу,—в тихом испуге произнес Изосим Изосимович, передернул плечами, поднялся, плотно прикрыл форточку. Опустился в кресло, вдавился в него, задумался. Потом взял чашку с чаем.—«Интеллектуальные способности». Ха! И как только вам это в голову пришло, Вова.—Он впервые не употребил эпитет «милый».

— Это, Изосим Изосимович, давно пришло людям в голову. В некоторых странах проверка интеллектуальных способностей претендентов на высокие должности дело обыденное. И занимаются этим специалисты—медики и

психологи. А у нас—партийные работники, закончившие ВПШ. Прав мой приятель-шутник, который уверяет, что в дипломах выпускников партшкол записано: «Универсальный руководитель». Вот они и руководят, и подбирают, и оценивают, и выдвигают, и утверждают. И все келейно, втихомолку, под большим секретом, как бы народ не узнал. Абсурд: благодетелей народа назначают втайне от народа. Где тайна, там не может быть правды, но зато простор для дураков, жаждущих власти, но не дела по своим способностям...

Я говорил, а Изосим Изосимович смотрел на меня все с большим и большим изумлением и настороженностью. И вдруг резко:

— Не тот разговор. Давайте-ка, любезный, будем спать—мне завтра в министерство.— Поднялся и направился к своей кровати.

Каждое утро путь Изосима Изосимовича лежал в Министерство коммунального хозяйства. Должно быть, «простой коммунальщик» выбивал для своей Четы разные трубы, задвижки, краны, унитазы и прочие скучные прозаические вещи...

На другой день вечером я сидел в номере и поджидал Изосима Изосимовича: что-то очень уж долго его не было. Зазвонил телефон. Судя по частоте и краткости сигналов, это был междугород. Снял трубку. Молодой жеманный женский голос:

— Мне Яковлева.

— Яковлев тут не живет.

— Как это не живет? Яковлев Изосим Изосимович.

— А, простой коммунальщик!

— Что значит простой? Секретарь обкома партии.

— Товарища Яковлева сейчас нет. Он в Министерстве коммунального хозяйства—трубы и унитазы выбивает.

— Какие трубы?! Какие унитазы?! Вы пьяны, что ли?

— Ага. В стельку. А вы его дочь?

В трубке густое первое сопенье, потом короткие гудки.

Только положил трубку, и вот он Изосим Изосимович. Вид изнуренный, измученный. Но в глазах—торжество. Еще от двери протянул ко мне обе руки.

— Милый, милый Вова! Позвольте вам представиться: Изосим Изосимович Яковлев—новоиспеченный заместитель министра коммунального хозяйства! Ах, милый Вова! Коллегия министерства пострашнее, позанозистее всякого вашего народа раз во сто! О-о, да вы тут без меня упарились,—потянулся к форточке.

— Только что вам звонили, судя по всему, из Читы, судя по всему... в общем, молодая женщина.

— Наденька?! Ах ты, душенька моя! Я тебе из ресторана звонил—не дозвонился. Сейчас я тебя обрадую!—ринулся к телефону. Но резко осадил себя, обернулся, обдав густым винным духом, ко мне:—Двадцать шесть лет. Милый Вова! Какая красавица! Статуэточка! Мечтает о Москве. Я нет, мне скучно здесь. А она мечтает с младых лет. И вот свершилось! Ах, милый, милый Вова! Завтра у моей душеньки Надюшеньки день рождения. И вот сейчас я преподнесу ей подарок. Ах, чего мне, знали бы вы, это стоило,—сморщил лицо, махнул рукой, снял трубку, стал набирать номер.—«Москва, как много в этом звуке...» Але! Наденька, крошка моя! Ну, здравствуй, милая! Поздравляю тебя с моим назначением...

1992 г.

НЕГОДНИК ТЫ МОЙ ХОРОШИЙ

Сын Валентины Фотиной, восьмиклассник Алешка, вернувшись из школы, доложил: закончил первое полугодие без троек. Валентине даже не поверилось. Заглянула в конец дневника—«четверки» да «пятерки». Значит, па-рень всерьез взялся за ум.

— Молодец, сынок,— похвалила.

А он, Алешка, хитро и весело прищурился.

— Молодец, мам, многовато будет, а вот магнитофон— как раз. Мы с тобой еще на берегу договорились. Или уже позабыла?

— Чего ж, помню. А может, Алеша, лучше костюм тебе возьмем?— Валентина вздохнула устало. Родила она сына поздно— так судьба сложилась,— растила без мужа, без алиментов, вообще безо всякой сторонней помощи— на одну свою зарплату заводской нормировщицы.— Что магнитофон-то? А костюм все-таки...

— Но— договорились же!— востепенулся Алешка.— У всех уже давно есть, а я как этот...

Валентина еще раз вздохнула—глубоко и протяжно.

— Да я так— про костюм. Тоже ведь нужен... Ну да ладно, одевайся и пошли.

— Денег-то хватит?

— Должно хватить— я у Носовых на всякий случай подзаяла.

И вот у Валентины Фотиной пошло житье!

День начинался с того, что Алешка, едва проснувшись, включал магнитофон на всю катушку и— аж за полночь. Стены дрожат, посуда на кухне чуть с полоч не валится, возмущенные соседи в дверь звонят, по батареям стучат. Валентина с обмотанной полотенцем головой бранится:

— Алексей! Ты ж дом развалишь, людей—и мать тоже—с ума посводишь! Убавь ты ради Бога, убавь!..

Алешка нехотя и сердито убавлял. Только мать уйдет снова на кухню, он снова на всю громкость. Снова возмущения соседей, ругань матери. Словом, не было печали... А музыка-то какая? Ни послушать, ни подпеть, ни расчувствоваться, ни всплакнуть—сплошной гул, гром да дикие выкрики. Особенно выводила из себя Валентину одна кассета, где то на один, то на другой манер били барабаны, а под них—визг не то мужчины, не то женщины, не понять, на каком языке... Хотя визг, он на любом языке визг да и все—мозги тебе как спицей пронзает, всю душу выматывает.

— Алешка, негодник! Пожалей мать, не то возьму и выброшу с балкона твою бандуру!

Алешка убавит звук. Отвернулась—опять на всю катушку. Ну хоть беги очертя голову из дому. А ему, паразиту такому, эта пленка пуще всех других нравится. Кончится—перематывает да и опять...

И вот один раз Валентина выпила валериановых капель (дошло уже и до них), настроила себя на мирный лад, вошла в комнату, спокойно выключила магнитофон.

— Ну, мам!—возмущенный Алешка вскочил с дивана.

— Подожди, сынок. Сядь.— Алешка повиновался. Валентина опустилась рядом.— Я несовременная, так ты мне объясни, что интересного и приятного в этом визге?

Алешка шмыгнул носом.

— Ну как тебе сказать...

— Попроще, чтобы я поняла.

— Да не понять тебе.

— А может, пойму. Ну?..

Алешка дернул плечом, немного помолчал и стал говорить:

— Ну, в общем, поет это негр. Правда, не совсем, а

только наполовину негр. Американец. Совсем еще молодой пошел на войну во Вьетнам. Там ему оторвало руки и ноги. Но он выжил. Научился петь...

— Так он—калека?—изумилась мать.

— Ну. И лицо его в рубцах. От ожогов. Когда его покалечило, он лежал в зарослях, а они—горели. Его без сознания в плен захватили, пытали. Потом обменяли на вьетнамца. И стал он сочинять музыку, стихи и петь...

— Ой, ой, какой ужас!—качала головой Валентина.— А поет-то он про что?

—Ну как про что... Против войны, за мир. За дружбу между простыми неграми, белыми и вьетнамцами... Барабаны—это ругань, драки, война, пушки, бомбы. А он поет, изо всех сил старается доказать, что должен быть мир: все люди одинаковые.

— Боже мой, Боже мой,—мать скорбно смотрела в глаза сыну, едва сдерживая слезы.— Вот ведь судьба-то какая. Но выжил. Да еще и поет. Откуда только у человека такие силы,—всхлипнула. Размотала на голове полотенце, утерла глаза.— Включи, сынок,—только, ну прошу, потише,— пусть он попоет,— и Валентина пошла на кухню.

Загремели барабаны, завизжал певец. Валентина с пристальным интересом вслушивалась. И правда: грохочут пушки, рвутся снаряды, бомбы. А певец—без рук, без ног, с обезображенным лицом сидит в каталке (Валентина прямо видела его)—изо всех сил громко, срываясь на визг, кричит, просит: люди! посмотрите на меня! Это проклятая война таким меня сделала. Так станьте же вы в конце концов разумными: не стреляйте, не убивайте друг друга! Давайте жить в мире и дружбе! И будет на всей Земле радостно и счастливо... Помешивала в кастрюле суп, думала с грустью: вот ведь какая тяжелая доля выпала человеку. И радовалась за него: вот какой сильный—не сломался, не спился, а выучился сочинять и петь...

Когда пленка кончилась, Валентина попросила:

— Сынок, перемотай, пусть еще поет.

Ну вот, а ты...— улыбнулся довольный Алешка и нажал на клавиш перемотки...

На другой день было воскресенье. После обеда Валентина Фотина пошла к Людмиле Носовой—в том же доме, через подъезд, живет,— чтобы отдать долг. Людмила повлекла гостью в кухню, потому как в одной комнате муж ее, Евгений, чинил люстру, дверь другой была плотно прикрыта, из-за нее вырывалась оглушающая музыка—это дочь Носовых, Вера, смотрела по телевизору концерт современной песни.

— И что это за музыка, от которой надо прятаться,— досадливо сказала Людмила.

Валентина ничего не ответила, достала деньги, положила на стол:

— Спасибо, выручила.

— Доволен? Алешка-то?

— Дово-о-лен.

— Представляю твое положение. И что, спрашиваю, они находят в этих... Слова вот даже не подберу.

— А ведь, скажу тебе,— сдержанно засмеялась Валентина,— находят. И даже...

— Да что, что в сплошном гае можно найти?!— Людмила указала на закрытую дверь комнаты.

— И даже, говорю, я пристрастилась к одному Алешкину певцу,— Валентина мельком посмотрела в глаза Людмилы и сконфуженно потупилась.

— О Господи!— всплеснула руками Людмила. После короткой паузы поинтересовалась:— Что за певец-то?

Валентина рассказала про американца полунегра, который остался во Вьетнаме без рук, без ног, с изуродованным лицом, но который нашел силы, все вынес и теперь вот поет, призывает к миру, к дружбе.

— Не знаю, не знаю,— с сомнением сказала Людмила,

наливая в чашки чай.— Все они чего-то там кричат, мечутся по сцене... Мое мнение, просто себя показывают.

Возражать Валентина ничего не стала, перевела разговор на другое:

— Закончили годовой отчет?

Носова работала бухгалтером на том же заводе, что и Валентина.

— И не спрашивай. Конца и края не видать...

Пили чай, говорили о работе, о зарплате, о ценах в магазинах и на барахолке, о перебоях с горячей водой,— словом, речи шли о делах житейских. И вдруг Валентина Фотина услышала: грохот пушек, взрывы бомб, пулеметные очереди, а их перекрывает призывный крик певца в качалке: «Люди! Не стреляйте, не убивайте друг друга!..»

— Это он!—взволнованно сказала Валентина, поставила чашку с чаем на блюдечко и поднялась.

— Кто? Где?—недоуменно спросила Людмила и тоже встала.

— Певец, который без рук, без ног,— и опрометью, Людмила за ней—направилась к затворенной двери, толкнула ее и увидела на экране телевизора: в буйстве светового разноцветья, под буйство барабанного грохота и треска взвизгивал и гикал совсем еще молодой красивый мулат. В такт издаваемым звукам он размахивал руками, вихлялся, притопывал и прыгал, будто весь был на шарнирах...

— Ах, окаянный! Ах, негодник!—с выкаченными глазами и открытым от изумления ртом Валентина смотрела то на Людмилу, то на десятиклассницу Веру.— Мать обманывать? Ну, погоди ж!..— ринулась в прихожую, накинула пальто и—в дверь.

Вошла в квартиру—барабанный грохот, выкрики мулата. Алешка полулежал на диване, самозабвенно слушал и тоже притопывал одной ногой. Валентина решитель-

но подошла к магнитофону, выключила его, а следующим движением включила телевизор. Алешка поднялся с дивана, недоуменно уставился на мать.

— Ты не только слушай, ты еще и смотри. Вот, видишь? Где без рук, где без ног? Ну? Это за что же ты, негодник, сделал его, такого молодого, красивого да резвотого, калекой, а?—Алешка, склонив голову, засопел.— Почему мать заставляешь переживать? Почему бессердечный-то такой?—Валентина опустила на диван, закрыла лицо ладонями, заплакала.

Алешке стало жаль ее. Хотелось успокоить, но он не знал, как. Решил, что надо выключить телевизор, и сделал шаг к нему.

— Зачем?—остановила его мать.— Пусть он поет свою песню, а я погляжу на него... Целый, невредимый, красивый,—слава тебе, Господи.— Просветленно посмотрела на Алешку:—Негодник ты мой хороший. Только сделай все-таки, сынок, потише—ну люди же везде—и пусть поет...

1993 г.

«СЕНИ НОВЫЕ, КЛЕНОВЫЕ, РЕШЕТЧАТЫЕ...»

Расскажу вам случай прямо-таки редкостный и необычный. И вместе с тем до того же знакомый, до того нашенький... Впрочем, к делу, а уж вы судите сами.

Значит, прошлым летом выкроил я из своего отпуска аж целую неделю и поехал в родную Тимофеевку, откуда я «есть пошел», где бываю чуть не каждую ночь, где доживает свой век моя мама.

Пошло все, как и мечтал. Утречком выпивал кружку парного молока и шел хозяйствовать: поправлял ограду, перекрывал шифером баню, красил ставни, ремонтировал крыльцо, сколачивал Тузику новую конуру, ходил в магазин... Разговаривал с односельчанами, со сверстниками, которых не сразу узнавал, и грустил: годы, годы... А перед сном отводили душу с мамой: вспоминали, рассуждали, вздыхали, смеялись...

После обеда непременно отправлялся часа на два-три на речку—удить, как когда-то, словно в иной жизни, со-рожек. Сидишь на травянистом берегу, притаив дыхание и предвкушая радость удачи, цепко смотришь на поплавок и ждешь: вот сейчас, сейчас он дрогнет, отчаянно запрыгает и ты резко возьмешь удилище на себя и из воды вырвется трепетное серебряное сверкание.

Спускался к речке самой короткой дорогой—мимо строящейся школы. Наконец-то и в моем селе будет вместо деревянной развалюхи новая трехэтажная. Стены выведены уже под крышу, однако сейчас что-то тишина и безлюдье на объекте. Может, материалов нет, может, еще что. Но вот однажды спускаюсь на рыбалку и вижу: белобрый, щуплый, средних лет рабочий долбит с наружной стороны фундамента большую дыру. Должно быть, маху дали, сразу не предусмотрели ее и вот теперь рабо-

чий долбит—неспешливо, но прилежно. И при этом поет:
— Ой вы, сени мои, сени, сени новые мои... —и так же хорошо, сердечно это у него выходит.

К вечеру подымаюсь обратно. Рабочий поет те же «Сени» и долбит. С помощью зубила и молотка уже настолько углубился в бетон, что и голову в дыру всунул. Хоть и не богатырь собой, а—сноровистый.

Спускаюсь к речке на следующий день. Поет свои, видно, очень любимые «Сени» и долбит, уйдя в дыру с плечами. Во отгрохали фундамент! У нас неписанный закон: строим сортир—ставим его во избежание возможных неприятностей на такое основание, что оно и небо-скреб выдержит.

Под вечер подымаюсь домой. Слышу приглушенные стук и пение, вижу торчащий из дыры брезентовый зад. Хм. Да что за притча! Подошел, вежливо потерябил грубый брезент.

— Перекури, друг.

Рабочий перестал стучать и петь. Вызволил себя из творимой им норы, с удивлением осмотрел меня, сказал укоряюще:

— Думал, прораб приехал, а тут... Не курящий я—вот это,—и, затаив «Сени» с самого начала, хотел было опять лезть в нору, но я удержал его.

— Погоди. Объясни мне, что ты делаешь?

— А что, дядя, велено, то и делаю,—ответил рабочий подчеркнуто учтиво.

— Велено-то—что?

— Прораб вычертил мелом квадрат и сказал: «Долби, Василий, дыру. Наскрозь». Вот я наскрозь и долблю.

— Дыра-то для чего?

— А шут ее знает. Мне это без надобности. Не обес-судь—некогда,—полез в нору.

А я спустился в подвал и сразу же убедился в том, что и предполагал. Вернулся, дернул за штаны.

— Слышь, Василий...

— Ну,—нервозно отозвался рабочий.

— Вылазь-ка. Дело серьезное.

— Какое дело, да еще сурьезное?—нехотя выпятился из норы, но не поднялся на ноги, привалился спиной к фундаменту.

— Ты там-то, внутри коробки бывал? Видел фундаментную ленту, поперечную этой?

— Ха! Как бы я не видел, если сам ее лил.

— Так вот. Эту-то пробил уже—и теперь идешь по поперечине.

— Даже очень может быть,—невозмутимо сказал Василий.— Ну так и что из того?

— А то, что на поперечину, говорю, попал.

— Значит, на поперечину,—живнул согласно.— Но мне прораб велел: наскрозь.

— Ошибся твой прораб, понимаешь? Не там квадрат начертил.

— Где ему виднее, там и начертил. А мое дело—исполнить в срок.

— Но ты подумай: на что нужна дыра через всю поперечину? А?

— Вот это интересненько. А чего я-то должен думать? Думать—дело начальниково. А мое—сполнять. Велено прорабом наскрозь, я наскрозь и делаю.

— Василий, бесполезную работу делаешь.. Между прочим, я тоже прораб.

Брови Василия поползли вверх, лоб наморщился.

— Да?—выпустил из рук инструмент, поднялся на ноги.—Вместо Софронова будешь или как?

— Да нет. Я в том смысле, что тоже строитель по профессии. Доводилось и прорабом быть.

— А-а-а!—щеки Василия разъехались в довольной улыбке.—А то я было напугался.

— Чего?

— С Софроновым хорошо. От него голова не болит,

потому как на мозг не надавляet. Он командует—мы сполняем. И—нормально.

— Но вот он дал тебе команду, а она—ошибочная.

— Ха! Не ошибается только Бог.

«Малохольный ты, что ли?»—мелькнула мысль.

— Брось пустую работу делать.

— Не-е. Софронов насчет этого строгий. Ему выработку дай, иначе... В общем, проверено,—Василий высморкался в сторону, утер рукавицей нос, поднял с земли молоток и зубило, затянул «Сени» и полез в нору.

На другой день направился было к реке окружным путем, минуя школу. Однако любопытство взяло верх и я свернул на прежнюю дорогу. Признаков присутствия Василия на объекте вроде никаких. Неужели понял наконец, что не то делает?

Приблизился к щербатому жерлу норы. Заглянул в сумерки ее и различил пупырышчатые подметки рабочих ботинок, услышал приглушенное «тук-тук-тук» и—задушевное пение: «...новые, кленовые, решетчатые...»

Вспомнилось гоголевское: «Скучно на этом свете, господа!»

1993 г.

РОДСТВЕННЫЕ НАТУРЫ

Поселок наш, каких нынче много: примерно половина аборигенов (не люблю это словцо), то есть тутошних, половина дачников. Первые вторых называют нахлебниками. Тоже словечко дурное и даже не остроумное. Лет тому пятнадцать Семен Константинович Колобов (по-тутошнему просто Сема) выработал химический стаж, вышел на пенсию, купил здесь завалюху и стал дачничать—в земле без разгибу, ковыряться да дом—обыкновенный деревенский, но попримичнее—ставить. Дорогу в городскую квартиру жена и сын еще помнят, сам же Сема, поди, забыл—некогда ездить в ванне мыться: он откармливает—по собственной методе—свиней, по дюжине в год, то есть сам ест и других кормит. Он один такой во всем поселке, но все равно—нахлебник. О других дачниках и говорить нечего.

Наискосок от Семя усадьба Гриши Перевошикова. Этот из шахтеров. Сразу как вышел на пенсию, обменял благоустроенную квартиру на дом в нашем поселке, обзавелся хозяйством, моется в бане, воду носит на коромысле, печь топит, и городским благам дорога отрезана—вот он для тутошних не нахлебник, а тутошний же. Странная у тутошних логика. Но вот какая деталь. Называя Семена Константиновича Семой, произносят это слово ласково, а улицу, где он хозяйствует, чаще называют не Озерной, а—Семиной. И еще деталь. В дачный сезон в здешний магазин привозят хлеба столько же, сколько и в зимнюю пору. Тутошние, когда им не достается буханки, не возмущаются, не ропщут на «нахлебников»—в этом случае они ведь действительно нахлебники—едут в соседнее село или напрямиком (25 км) в город. Сложна, непостижима русская душа.

Об этом я, один из «нахлебников», размышлял, когда

...кушонским утречком, отправившись в магазин за...
...нагнал по улице Сосновой. С нее повернул на...
...Семину. Повернул и увидел Гришу Перевощи-
...В одних цветастых трусах он сидел на лавочке у...
...дома — взлохмаченный, мятый и еле-еле живой.
...он у дачника Смыслова электропроводку делал,
...закончили песнопением. Увидев меня, Гриша тряхнул го-
...вой и хриплым голосом:

... — Алодя, в молодости я был шибко красивый и вы-
...оний, — хотел поднять руку на всю высоту, а сил хвати-
...ло только до соска. Усмехнулся получившейся нелепо-
...сти. — Пропадаю, Алодя. Ты возьми там какую-нибудь. Я
...разочтусь. Край надо Топоркову сегодня дрова испилить —
...обещал. Общим, возьми... — В это время Сема у себя во
...дворе начал отбивать косу и ударял он будто не по ее
...жалу, а по больной Гришиной голове — таким болезнен-
...ным сделалось его лицо. — Возьми этот... — пальцы его
...сделали несколько движений, отдаленно напоминающих
...перебирание клавишей, — там больше ничего нет. С Бо-
...гом, Алодя. Помни: пропадает Григорий...

...Хлеба не было. Когда привезут, продавщица не зна-
...ла, но обещали. Взял бутылку «рояля» и отправился в
...обратный путь.

...Лавочка была пуста. Голос Гриши, уже взбодренный,
...даже какие-то голоса доносились из распахнутого окош-
...ка предбанника. Тут надо сказать, что Гриша, закончив-
...ший, как он говорит, ровно три класса и одну четверть,
...тем не менее мастер на все руки. Смыслит и в токарном,
...и слесарном, и электрическом, и часовом, и кожевенном
...и еще во многих делах. А страсть его, отрада — столярно-
...плотницкое дело. Ради него-то он, потомок вятчей, и
...«свихнулся» (так говорила ему родня): променял город-
...скую квартиру на деревенский дом — чтоб развернуться.
...«Бабке Верунье (жене) и отдал в вечное владение всю
...живность, а себе взял дом». Дом был новый, большой,
...но — не смотрелся. Через два года он, обшитый тесом, ук-

рашенный затейливой резьбой, деревянными кружевами, превратился в горделиво-величественный русский терем. На третий год Гриша построил и изукрасил баню, которую называет «невестушка моя». Одна из особенностей «невестушки» в том, что предбанник в два раза просторней парной, и все в нем обустроил Гриша так, «чтоб человек в нем себя чувствовал». Бревенчатые стены и пол покрыты бесцветным лаком. Да нормальных размеров, а не «щелки», окна, жесткий деревянный топчан—«на нем после пару кости хорошо распрямляются»,—небольшой овальный стол, три складных креслица, занавески, полочки, разные нужные пустячки, потому что «баня—праздник лучше Рождества»... Однако в предбаннике с некоторых пор стали справляться совсем другие праздники.

— Алодя,—высунулась Гришина голова в окно—глаза ожившие,—заходи сюда.

За столом, на котором возвышалась уже на две трети опорожненная бутылка «московской», восседали, кроме Гриши, Максим Топорков и Вадим Гушин, тети Нади Гушиной младший сын, живущий в Белове. При моем появлении заговорили все разом, и из этого триединого монолога я уяснил следующее. Максим пошел за Гришей и его бензопилой, чтоб, как договорились, испилить дрова, а поскольку Максим знал, в каком сегодня Гриша «утреннем статусе», прихватил с собой. По дороге встретил Вадима, у которого был тот же «статус» и еще один: окончательно поссорился с женой и вот приехал посоветоваться с родней, как быть дальше. Родня, оно, конечно. Но сначала следует к Грише—он и душевный, и голова,—тем более, что путь Вадима лежит мимо Гришиного дома.

Естественно, меня усадили, налили. Я отказался: мне хлеб не прокараулить бы. Мужики настаивали, но я проявил упорство, и они выпили без меня. Максим завозмущался: поселок разросся, а хлеба не увеличивают. И вообще кругом бардак. Какой рынок, когда народ весь раскупоненный.

— Была бы моя власть, я бы, знаете, как?—спросил Гриша. Он саданул кулаком по столу, рюмки, вспляснув, зашуршали. — Вот так бы я. И все—был бы полный порядок. Правильно?

— Правильно,— сказал Гриша.— Но не получится у тебя. Это ты в рассуждении характерный. А надо в деле. Максим—тутошний. Шоферил в совхозе. Уважали. Год назад выкупил свой вконец изношенный бортовой «газик»—решил свое дело завести. Какое—представлял смутно. Вместе с Гришей поставили машину «на ноги». И принялся Максим за дело: кто что попросит подвезти, подвезет. Кто сколько заплатит, столько и ладно: люди-то все хорошие, а с хороших много брать—грех. С друзьями ничего не берет, ну разве вместе бутылку разопьют. А друзей у него стало много. Но бензин едва-едва окупается и тоже ладно. Словом, не рыночник Максим, а просто-дырнй, рубаха-парень. Кстати, и Вадим Гущин примерно такой же. А жена у него—тоже из тутошних—из-под стоящего подметку оторвет. Это все подтвердят. Не пара они. Через какое-то время налили-выпили разведенного «рояля». И принялись разбирать «семейный статус» Вадима. И так и этак тремя умами раскидывали. Выходило одно: не мед жена. Но ведь двое ребятишек. Им отец нужен. Гриша подытожил:

— Не вижу пока выхода, хоть мы и за бутылкой.—И наполнил рюмки.— Вздоргнем да еще поищем...

— Не успели вздрогнуть. В это самое время из своей ограды вышел с косою на плече Сема, направляясь в поле. Гриша приподнялся, позвал:

— Слышь, Семен Константинович, зайди на полминуты.

— Спасибо. Но—некогда,—сказал Сема, улыбнулся своей мягкой, я бы даже сказал, симпатичной улыбкой и пошел своей дорогой.

Вот это его «некогда» не нравится и всем тутошним, и дачникам. Ну посиди с людьми, поговори, рюмку прими.

Нет, некогда. Немного обижаются люди. А Гришу Семину «некогда» просто выводит из себя. И чем дальше, тем сильнее. Нет, Гриша крепко уважает Сему. И за его умное хозяйствование, и за умельчество, за умельчество особо. В газетах еще только споры-разговоры были о мини-тракторе, а Сема уже сделал и разные навески к нему, сконструировал небольшую оригинальную зернодробилку, устроил небольшую кузенку, поливалку на колесах, комораздатчик, а сколько разных маленьких хитростей, приспособлений напридумывал, забав для внука. В этом Гриша и Сема родственные натуры. Родственные они отношением к людям. Приди хоть кто к Семе и скажи слово «помоги», Сема бросает свое дело и идет помогает человеку поднять балку на сруб; увидит на участок дачника забралась коза—выгонит и лазейку надежно заделает; проходя мимо что-то работающих мужиков, остановится, взглянется, вдумается, подскажет, мол, вот это-то ловчее будет так сделать. С ним согласятся, приглашают сесть покурить. Сема улыбнется, поблагодарит и «некогда».

Тутошние, называя Сему нахлебником, одновременно считают в его кармане деньги и называют кулаком. Гриша оскорбляется за Сему: «Учитесь у него и тоже будете богатыми.—И с напором, чуть ли не сквозь зубы:—Другое дело, что не Иван он, а Флидрих, Ганс». Это Гришин приговор Семе за его «некогда».

— Семен, ну ты чего, зайди,—крикнул Гриша вслед Семе. Не получив ответа, резко махнул рукой:—А-а, Флидрих, немчура.—Опустился в креслице, какое-то время сидел, подперев кулаком голову, о чем-то усиленно думал. И вдруг воспрянул:—Мужики! А ведь есть выход! Вадька, есть!—Поднял рюмку.—Вздоргнем дружно и—скажу.

Вздоргнули. Наладились слушать. Гришино лицо сделалось серьезным и трезвым.

— Значит, так. Вацм. Ты строитель. Отменно знаешь

бетонное, плотницкое дело. И ты, Максим, не в поле. И у тебя грузовой транспорт. Ну и я, сам не в тетеринном гнезде вырос. Мы—строительная бригада. Сегодня у нас конец июня. Два дня на сборы—выежаем. Как пелось у шахтеров, прощай, Маруся ламповая. Державе тяжело, державе нужно помочь. А мы тут с бабами воюем да сивуху хлещем. Общим, едем в Топкинский район, берем совхозный объект и—под ключ. Как?..

Мысль! Идея!—разом одобрили Максим с Вадимом и поочередно потрясли Грише руку. Это его вдохновило. —Эх, ребята!.. Максим, плесни по капле и я скажу вам речь.—Максим плеснул. Выпили.—Ребята! Чего, кого мы здесь видим? Семку? Глядячи на него сдохнуть можно. Ганс, немчура—у него скушная душа. А мы люди—раздольные. Но, мужики, с этим делом завязываем. Завтра все как стеклышки. Мы ж на святое дело едем. Там будет работа—настоящая: соленая и хмельная. Эх, язви вас, други мои! Какая это будет работа, какая жизнь!.. А квартировать будем у какой-нибудь бабушки с таким, в хорошек, передничком. А лучше в шалаше. На бережку речки. Рыбка плещется. Костерок, звезды... Эх-х! А, парни!

Максим смотрел на Гришу восторженными глазами, кивал: здорово! отлично! Вадим же одарил Гришу влюбленным взглядом, хлюпнул и утер слезу.

—Алодя... Максим, плесни. Алодь, поехали с нами. Что ты тут напишешь. А там наблюдай, как мы работаем, и такую книжку напишешь, что люди тебя... Фамилий наших не пиши. Дело не в этом, Алодя. Воля! В ней дело. Опишешь, как хорошо человеку, когда—воля... Мужики, будет трезвый образ. Все культурно, справедливость—на сто процентов. Все по-братски, по совести... Мужики, черт вас забодай, мы еще споем вот этими руками наши песни!

Жизнь, которую Гриша рассказывал, Вадим с Максимом охотно принимали, они действительно видели в ней

свой выход, во всяком случае они надеялись на это. У Гриши же, их вдохновителе, такой надежды уже нет—слишком он проницательный, чтобы не понимать это. А рассказывает воображаемую жизнь, чтобы, рассказывая, мысленно жить ею, надышаться, насладиться ею...

Как сходят с круга божьей милостью поэты, вообще творческие личности, обобщенно называвшиеся встарь артистами? Ослепительное, как фейерверк, признание, слава, превозношения, лесть и—вскружилась голова, начался разгул и разрушение личности. Гриша Перевощиков тоже артист, тоже божьей милостью талант и с ним происходит, да уже, к сожалению, произошло то же самое. Когда дом и «невестушка» баня были закончены, к усадьбе Перевощикова началось паломничество. Одни шли просто посмотреть, другие желали иметь подобное же чудо. Гришу чуть ли не на руках уносили в дачные поселки—в Тебеньки, Медынино, Подонино, Березово. И он, извлекая резцом из дерева ноту за нотой, создавал мелодии, гордясь собой и тем, как он славен. Вскружилась голова и началось падение. Чем ниже Гриша опускается, тем больше раздражает его, выводит из себя «флидрих» Сема, который сродни ему, но совсем другой. Для него жизнь—мастерская, а он в ней работник—неустанный, впивчивый, как клещ. Но это вовсе не значит, что Сема не испытывает удовлетворения и блаженства от всякой работы, не говоря уже о творчестве. Просто он не выставляет этого на всеобщее обозрение. Слово одно: «воля». А выражает два противоположных, антагонистичных понятия. Воля для Семы—это способность организовать себя на дело и умение окорачивать в себе стремление к той воле, которую исповедует Гриша—ничем не ограниченная свобода, бесконвойность. Две воли двух этих мастеров—несовместимы. Какая-то одна непременно должна и подавляет другую со всей беспощадностью.

— Максим, плесни! И учтите—на сборы два дня. Едем!.. «А бывал я удал! С ухарскою тройкой понесусь и

зальюсь песенкою звонкой...— запел Гриша то же, что вчера вечером пел у дачника Смыслова.— Уж дугу не могу перегнуть как надо; вожжи врозь, ну хоть брось! Экая досада!..»

Я улучил момент и тихонько вышел.

Хлеб был. И была очередь. Как всегда, длинная и медленная. Отстоял... На обратном пути нагнал Сему. На плече коса, за спиной вязанка свежей травы,— чтоб не идти порожним.

— Не рано начал?

— Конечно, пусть бы поросла еще. Но зато—мягкая, сочная. Сейчас я за полный день могу повалить ее на гектаре, а через две недели в полтора раза меньше. Проверено.

— Корову думаешь заводить?

— Возьму по осени пару телочек. А им сенцо понежнее надо. Вот и будет как раз. Ну, счастливо,— Сема повернул в свой двор.

А я взял ближе к окну Гришиного предбанника. Там— тишина. Поднялся на цыпочки, заглянул. Гриша, уронив голову на грудь, спал в креслице. Максим с Вадимом посапывали на топчане...

Что было на другой день, думаю, понятно и так. Пропадательный «утренний статус». Поправка. Назначение двухдневного срока на сборы, празднование воображаемого «вольного житья» до самого лежачего «статуса»... И на третий день все в том же порядке. И вот на четвертый в стороне, где живет Максим Топорков, заурчала, завизжала Гришина бензопила... Грустно все это. А когда знаешь, какие это отличные, чудо какие хорошие мужики, грустно вдвойне.

1994 г.

ПОД СОЛНЦЕМ РОССИИ

«Рощи голы. Нивы сжаты». Задумчивая, щемящая душу печаль. Низкое солнышко ее только усиливает своим прощальным скучным поблескиванием...

Скатившись с горки по прочной накатанной гравийке, перед поворотом на центральную, а вернее сказать, единственную улицу Воскресенки, Толя Адерин остановился—нельзя рискованно ехать. Вчера тяжелые, судя по колее, транспорты размесили дорогу, ночью ее схватил морозец, а теперь, под солнышком, она начинает оттаивать. А нам с этого края села аж—два почти километра—в тот. Туда-то еще проехать можно, а обратно—часа через два-три,—очень сомнительно. Так что делать нечего, Вася Кафо и я берем свои «средства производства» и чвак-чвак-чвак вдоль по улице.

Десять утра. Улица безлюдна и беззвучна, будто вся жизнь умерла. Даже собак не видно и не слышно. Чвак-чвак... Вот впереди показались двое в рабочей одежде. Сближаемся. Оба моложе средних лет. Вид у того и другого скучный, лица помятые, болезненные. У одного «фонарь» под глазом—уже угасающий. У другого голенище резинового сапога сверху надорвано. Придерживают шаг:

— Закурить найдется?

— Пожалуйста...

Который с «фонарем»:

— Поди, к фермеру Дубровскому?.. А может, вы и нас тоже?—кивок на Васин фотоаппарат. И тут же хриплый смех по поводу неуместности, абсурдности собственного вопроса.

Разошлись.

Чвак-чвак... Хорошо, что не поехал Толя—вон рытвины какие. И все больше подтаивает. Встречается еще один. Тоже в рабочем, тоже помятый, скукоженный весь, без

шапки, рыжие волосы всклокочены. Тоже просит сигаретку. Сам прикурить не может—дрожат руки,—приходится поджечь.

— Вам двое не встречались? У одного глаз подбитый.

— Встречались.

— К фермеру, что ли?.. Опять фотографировать?..

— Чвак-чвак-чвак...

Небольшой поворот—и открылась усадьба Дубровских. Обыкновенный крестьянский дом давнишней постройки, большие зароды сена, трактора, коровы в загоне, новая баня... А вон и сам хозяин Петр Игнатьевич Дубровский— невысокий, крепенький, как грибок-боровичок. Увидел, узнал нас, пошел навстречу...

* * *

Их, Дубровских, шестеро: Петр Игнатьевич с женой Людмилой, его брат Владимир Игнатьевич с женой Александрой и родители братьев Игнат Иосифович и Валентина Петровна. Три, объединившихся в крестьянское хозяйство, семьи. У братьев по двое детей. Глава хозяйства—Петр Игнатьевич, он имеет среднетехническое сельскохозяйственное образование, у него есть богатый опыт земледельца.

Вот уже пять лет Дубровские владеют 126 гектарами сельхозугодий, бесплатно полученных Петром Игнатьевичем в постоянное пользование с правом наследования. Пахотных земель нет, только покосы и пастбища, потому как Дубровские специализируются на животноводстве—разводят коров высокопродуктивной американской породы голштин-фриз, дающих шесть тысяч литров молока в год. Сейчас их, дойных, в стаде одиннадцать. И есть пятнадцать телочек и бычков.

Забот в хозяйстве выше головы. Но забота заботе—рознь. Уход за животными, повышение надоев—тут уж как потопашь. «Топать» Дубровские умеют. И считать

тоже. И вперед глядеть. И из металлолома необходимый инвентарь сработать... А вот со сбытом продукции—молока, сметаны, творога—хуже. Есть в городе магазин с символическим названием «Фермер», но фермера-то он как раз и не привлекает. Продукты примут там по невыгодной, почти разорительной цене да еще и предупредят: если не продадим, то уж не обессудьте. А молочные продукты скоропортящиеся. Стать где-то на стихийном базарчике, толчке—тут как тут бравые хлопцы: плати, мужик, дань. Это возмущает и унижает. Союз же фермерских хозяйств в вопросы сбыта не вникает. Вот и думай, голова. Дубровские придумали: в летний сезон по субботам загружают легковушку своим товаром и—в дачные поселки. И дачникам хорошо, и Дубровским удобней и выгодней. Но самый трудный, головоломный вопрос—как расширять хозяйство—подкупить техники, инвентаря, стройматериалов, оборудования. Льготных кредитов Петру Игнатьевичу не выдать, как собственных ушей—характером не вышел: не умеет и не хочет кому-то угождать, подмазывать, попадать в зависимость—он человек прямой, независимый, на сделки с совестью не идет. Кредиты же под сумасшедшие двести-триста процентов брать рискованно, пока хозяйство не стало на ноги, пока не отлажен производственный цикл. Обидно. Но—жить надо. И работают без продыху.

Дубровские работают, а жители Воскресенки смотрят и видят в них опасных разрушителей давно установившегося порядка и покоя на селе. Называют их в глаза и за глаза богачами, кулаками, разные небылицы сочиняют. Не только словом, а, бывает, и делом выражают к ним свое отношение. Прошлой осенью ни с того ни с сего загорелся стог сена Дубровских—пятнадцать тонн корма из необходимых ста превратились в пепел. Ни пастухи, ни сами хозяева «не видят», когда их скот заходит на сенокосы Дубровских. У одних хозяев на противоположном конце деревни потерялся бычок. «Нашли» его в стаде Дуб-

родских, правда, другой масти, тяжбу начали. А, выяснилось, бычка задрали волки...

Дубровские всячески стремятся не обострять отношений с односельчанами—худой мир лучше доброй ссоры—и надеются, что, может, для кого-то они станут примером, кто-то тоже возьмет свой пай и будет фермерствовать...

Этими переживаниями, раздумьями Петр Игнатьевич делился с нами, Васей Кафо и мной, ранней весной. Расставаясь, договорились, что мы приедем опять по осени—«цыплят считать».

И вот приехали.

— Хорошие, Петр Игнатьевич, стога. Довольно накопили? Хватит на зиму?

— В прошлые годы по сто тонн заготовливали, а нынче только шестьдесят набрали. Неважная трава была.

— Значит, трудная будет зимовка?

— Перезимуем как-нибудь—поголовье увеличивать мы не будем... Нет сегодня смысла расширяться...

Переменился с весны Петр Игнатьевич. Тогда он при всех—в общем-то неизбежных—неприятностях держал голову высоко, были в нем уверенность и пафос. Теперь же он, нет, не отчаявшийся, а усталый, умаявшийся.

— Если вы в самом деле возлагали на фермерство большие надежды, то где законы, которые бы защищали частного хозяина от произвола, унижений, разных ущемлений? Почему между колхозами и совхозами с одной стороны и фермерами с другой идет неравная конкуренция? Первые получают от государства дотации, вторые—купиш под нос. Позабывшими-нозброшенными оказались фермеры. Другой раз, бывает, раздосадишься: а поставить на всем крест да податься куда-нибудь—хоть те же шмотки перепродавать. Но тут же внутри протест: все-таки какие-то корни уже пущены, и не на дядю горбатишься, а на себя, на свое потомство... Там, глубоко в тайге, есть такой же фермер-животновод, как я, Евгений Барда—умелец, трудяга, прирожденный крестьянин. Встре-

тились недавно. Все те же проблемы, что и у меня. «Но,— говорит,— буду до самого конца». Сильный характер. Вот пример для меня... Чуть-чуть бы, самую кроху помощи, на худой конец, внимания преданным делу и земле...

Уже распрощались, пожали руки, когда вдруг Петра Игнатьевича осенила мысль:

— Во, спонсора бы найти хорошего—думающего, предприимчивого! И работать к обоюдной выгоде. Все-таки сто двадцать шесть гектаров. Они много могут дать,— глаза Дубровского вспыхнули азартом, желанием действовать.

Странно, но от этой вспышки на душе сделалось еще грустнее...

* * *

Держим с Васей путь обратно, к машине. Второй час. Солнышко поднялось уже, насколько могло в эту пору года. Пригревает спину. Дорога раскисла совсем—сплошная жижа. Порой по щиколотку. Чвак-чвак-чвак...

На обочине—заглушенный лесовоз. Метрах в тридцати от него на полянке на старых в два обхвата сутунках, каких великое множество валяется по всему селу, но никому почему-то не нужных, сидят кучкой семеро мужиков. Среди них и те трое, встречавшиеся нам на пути к Дубровским. Рыжий, который не мог самостоятельно прикурить, уже готов: голова упала на грудь, руки безвольно висят вдоль туловища. Остальные доходят до кондиции. Передают из рук в руки стакан и, судя по обрывкам фраз—«да мы шестая часть мира!», «да чего там немцы-американцы! Если русский мужик захочет, то он в два счета всем этим шавкам нос утрет...»—у них серьезный державного масштаба разговор. Тот, который с «фонарем», увидел нас, обрадовался, поднялся, раскинул, как для объятий, руки:

— О-о! Пресса! Крути руль в нашу сторону, посидим под ласковым солнышком!.. Да вы что! Зря-а-а...

Чвак-чвак-чвак...

Хорошо, за печатом жить под великим солнцем России мужикам совхоза «Луговой». Хозяйство на ладан дышит? Не беда-а! Родина в беде не бросит. Из года в год дотирует земельные посылки и страстные речи мужиков о величии ее, Родины.

А Дубровскому кукиш под нос. Будто он под другим солнцем...

— Не, солнце одно должно быть. А потому пущай Дубровский присоединяется—сутунок длинный, сутунков у нас много...

Чвак-чвак-чвак...

1994 г.

ВОЗГЛАСЫ



ДВУЕДИНСТВО

...И все-таки!

Не быть Руси без праведника! Пока есть Русь, будет и праведник. Пока есть праведник, будет и Русь. Вечное двуединство. В нем мы всегда находили утешение, исход и свое спасение. Вглядись усталым взором в опостылевшую, уродливую действительность. Вон «дробит в осколки твердый камень» порока. Это—праведник. Шагни к нему...

1987 г.

БЕДА

Старику Федору Игнатьевичу сын Владимир—работает шофером—привез в обеденное время машину старых шпал на дрова. Закончилась смена, поставил Владимир машину в гараж и прямым ходом к родительскому дому—стаскать шпалы во двор. Подходит и видит: сухой, сутулый, со впалыми щеками, сидит отец на шпале и плачет.

— Ты чего это, пап?

— Беда, сынок...

— Что такое?—встревожился Владимир.

— **Говорю, раньше-то...** когда был забойщиком, я с трехметровыми стойками обращался, как с полешками... А сейчас,— Федор Игнатьевич с досадой пристукнул слабым кулачишком по шпале,— от земли оторвать не могу, ровно из железа, проклятые, сделаны... Съела, сын, старость силы, как огонь солому,— облокотился на колени, закрыл лицо ладонями, зарыдал, как ребенок, у которого отняли что-то самое дорогое его сердцу...

1987 г.

СОН

Раным-рано хозяйки выгоняют коров на поляну в конце села. Там пастух собирает стадо. Там же бабы наспех обмениваются последними новостями, болезнями и горестями, обсуждают разные происшествия, а случается, и звонкоголосо выясняют отношения.

Сегодня Анна Кустова, шустрая, говорливая бабенка, начала еще издали:

— Ой, девки, что мне сегодня приснилось, что приснилось...

Конечно, сразу всё внимание на нее:

— Ну?

— Прямо ужась, что приснилось...

— Дак не мусоль, рассказывай.

— Ну, ступай, Зорька, ступай к своим товаркам,— Анна похлопала корову по шее, обратилась к односельчанкам.— Значит, вчера утопалась я, убегалась. Уже в первом часу легла. А в шестом—вставать. Вот, думаю, жизнь-то, будь она неладна, за заботами да хлопотами дохнуть некогда. Весь огород проклятый мокрец заполо-

нил—край как полоть надо. А тут с покосом никак не развяжемся—опять вчера дождь не дал сметать. Да еще мужик как на грех палец поранил. Ирине скоро уже на учебу ехать, а платье недошитое лежит. Хотела с понедельника в отпуск пойти—Мария Круглова заболела, куда пойдешь... И так раздосадовалась! Ведь ради спокойствия хлопчешь, а покой и не блазнится даже. «Провалилось бы оно все в тартарары!»—перевернулась на другой бок да с тем и уснула. Только уснула, слышу заходит в дом покойный дедушка Павел, мамин папа, и говорит: «Жалко мне тебя, Анюта, тяжело живешь. Ступай-ка ты за мной». И повел меня. Куда и как шли, не помню, а очутилась вдруг в доме не в доме, а в какой-то гриднице, во дворце каком-то. Кругом убранство дорогое, чистота... Даже не могу обсказать, как там приглядно да хорошо. В окошко открытое выглянула—сад. Деревья, каких и по телевизору не увидишь, птицы диковинные поют, дорожки белым песочком посыпаны. «Глянется?»—спрашивает дедушка Павел. Я кивнула, шибко, мол, глянется. «Вот,—говорит,—и живи тут без забот. Что тебе потребуется, только подумай и все живым духом явится. Останешься?» И только бы мне кивнуть опять, мол, останусь, подумала: перед тем как лечь спать, хотела же мясо из холодильника достать, чтоб оттаяло, да утром суп поставить варить. Вот ты ж беда-то! И—даже дедушке «до свиданья» не сказала,—домой дуй не стой. Прибежала, вся запыхалась. И только бы руку к холодильнику протянуть—проснулась.

— Ну, слава тебе, Господи,—бабка Матрена Адамова истово перекрестилась сама и перекрестила Анну.

— Вот так, думаю, сон. К чему бы? И вспомнила: я же и вправду хотела мясо достать, а засуетилась и позабыла. Поднялась, достала. «Спасибо тебе, дедушка Павел. Не ты б, так был бы мне утром нагоняй от мужика». Легла—и как убитая до утра. Вот какой, девки, сон-то.

— Это ж он, дед-то Павел, в рай тебя приводил,—

сказала бабка Матрена.— Сегодня у нас пятница? Что под пятницу снится, не бойсь, Анна, не сбывается. А тем паче ты убежала...

— А чего было бежать-то. Рай же,—засмеялся дед Нестеров. Старуха его прихворнула, и уже третий день он сам доит корову и провожает в стадо.

Анна ему:

— Дак, а с делами-то как?

— С собой же их не заберешь,—добавила Мария Шабунина.

— Моей свекрови однажды такой же сон привиделся. Так она там, в раю-то, померла от безделья,—поведала продавщица Зоя.— И, говорит, пусть Господь ту райскую смерть зачтет и оставит меня на земле.

— А я,—многозначительно поднял указательный палец дед Нестеров,—как предстану перед ним, так паду на колени, взмолюсь: «Отче небесный! Определи меня в ад. Сказывают, на грешниках в аду дрова и воду возят...»

— Определит! Тотчас же,—скосила хитрые глаза на деда бабка Матрена.

Все засмеялись—знали, каким неутомимым женолюбом был Нестеров в молодые годы.

— Ой, люди!—всплеснула руками Анна Кустова.—Я тут с вами лясы точу, а у меня ведь суп варится!

— У тебя уже суп. А у меня еще и конь не валялся.

— От ведь жизнь: как в котле кипишь, даже с людьми поговорить некогда...

Все направляются каждый в свою сторону.

1988 г.

ВЫШИВАНИЕ КРЕСТОМ И ГЛАДЬЮ

— Э то когда я—в пятидесятые годы—работал ко-
нохом на молзаводе, была у нас вдовая сепараторщица
Маша Дулова. Женщина полная, опрятная, на редкость
беззаботная и большая весельница. Жила в поселке Бу-
ровом. В собственном доме. Одна. Дочь к той поре выда-
ла замуж. Так вот мужички наши, из бойких на язык,
напрашивались к Маше в гости—как бы шутя. Маша,
глазом не моргнув, всерьез:

«А чего, приезжай...»

Некоторые ездили. На последнем автобусе туда, в Бу-
ровой, а обратно средь ночи пёхом. На другой день весе-
ло рассказывали о своем гостеванье. Мол, Маша со всей
душевностью встретила, за стол усадила, от души угости-
ла, про жизнь свою вдовую рассказала, а когда пришла
пора вроде как про любовь говорить, взяла пяльца, усе-
лась на кровати, стала вышивать розочку и азартно рас-
сказывать гостю, как надо иголку держать, как нитки
подбирать, как узелки на обороте не сделать, как гладью
вышивать, как крестом. Тараторит и тараторит. Гость
давай знаки делать: позевывать. Она ноль внимания—
вышивает себе и тараторит. Видит мужичок, с Машей кашу
не сварить, шапку в охапку и к порогу. А Маша с
удивлением:

«Это куда ж ты?»

«Так домой».

«Э нет, дружок, так от меня не уходят гости,—выбе-
гала в сенцы, приносила чашку семечек.—Подставляй-ка
карман. Это чтоб дорога казалась покороче. Не дошел-
каешь, гостинцем от меня твоей жене и деткам будет. Ну,
с Богом...»

Однажды такой рассказ услышал Федя Пухов—наш
новый столяр. Мужик хмурый, неразговорчивый. И креп-

кий хозяин был. Копейку на ветер не бросит, а найдет кем оброненную, так неделю радуется—прибыток. Жена буфетчицей на шахте работала, тоже бабенка глаз да ухо, тоже все в дом тащила. Ребяенок у них был—не помню, мальчик ли, девочка. Вот и Федя тоже решил погостевать у Маши Дуловой—к слову сказать, был он лет на шесть моложе ее. Как и другие, поехал к ней последним автобусом. А наутро на первом рейсе вместе приехали на работу. И объявили себя мужем и женой. Вот так. Кто бы мог подумать, что Маше, беззаботной пересмешнице, поглянется сквалыга, бирюк Федор Пухов. Жили лет тридцать—до смерти Маши. А самое интересное, что по вечерам оба вышивали цветочки и ягодки...

1988 г.

БОЛЬШАЯ ИГЛА

Василий Щеголев уехал из Чепраков в город сразу после окончания десятилетки. Поступил в институт. Каникулы проводил в родном селе. Когда получил диплом, возможностей бывать в отчем доме стало гораздо меньше—приезжал по выходным да по праздникам или выкраивал два-три дня из отпуска. После смерти родителей все связи с Чепраками у Щеголева оборвались. Сожалений в том Василий как-то и не испытывал. Даже стал забывать, что он родом из деревни. Вернее, стало казаться, что он всю жизнь был горожанином, как и его жена, как дочь-студентка.

Но вот в последнее время видит он один и тот же сон. Будто просит Василий водителя попутной машины тор-мознуть возле моста через речушку Укат, вылезит из кабины и, вдруг обратившись в мальчишку, купается или удит пескарёй, скачет по полю на горячем колхозном

Соколе. Потом шлепает босыми ногами по теплой серой пыли центральной улицы Чепраков, сворачивает в узенький проулочек и входит в свой дом с мальвами в палисаднике. В доме слышится запах кожи, вара и воска. Отец сидит перед низеньким самодельным столиком возле окна, как всегда, мурлычит себе под нос песню про Лизавету, которая ждет от друга приветов, и шьет сапоги. А мать, тихая, но сноровистая, хлопочет у печки. Василий присаживается рядом с отцом, вынимает из войлочного ромбика, что висит над столиком, самую большую иглу, просит:

— Пап, скажи, как она называется. Мы с Генкой Ершовым заспорили. Он говорит, просто большая и все. А я ему: нет, у нее свое название есть. А вспомнить никак не могу.

Отец морщит лоб, напрягает мысль, смущенно смеется и говорит:

— Тоже запомнил, сын.—Вздыхает.—Годы...

Подходит мать. Укоризненно кивает головой:

— Эх, вы, старый да малый—забыли. А вот я помню...

И она говорит, как называется самая большая в отцовском наборе игла. Василий трижды повторяет название, чтоб хорошенько запомнить, радостно подхватывается.

— Побегу Генке скажу.

Стремглав мчится из дому, но спотыкается о высокий порог и—просыпается. Простое и ясное слово, название иглы, которое сказала мать, уже куда-то улетучилось. Щеголев досадует, ворочаясь с бока на бок, напрягает память. Иной раз кажется: сейчас столкнутся в его голове две короткие мысли и высекут утраченное слово. Но этого не происходит...

Когда он на улице, в автобусе или универсаме, бывает, случайно встречается с кем-нибудь из односельчан, тоже осевших в городе, и его спрашивают о жите-бытье, Василий отвечает общими фразами, мол, да ничего, нормально, и как бы между прочим спрашивает сам:

— Слушай, как у нас в деревне называли большую сапожную иглу?

Односельчанин, как и отец в снах Василия, хмурится, напрягает мысль.

— Большую сапожную? Цыганская, кажется.

— Нет.

— Тогда, наверное, барыня.

— Тоже нет.

— Кулевая, что ли?

— И не кулевая.

— Да, по-моему, наш отец так и называл—большая.

— Нет, мой иначе как-то... Главное, слово-то совсем простое, а не вспомню. Вот вертится на уме, а...— Щеголев в досаде прищелкивает пальцами.

— А зачем она тебе понадобилась-то, игла эта?

— Понимаешь, когда-то, еще в детстве, с Генкой Ершовым заспорили. Он толкует: большая и все. А я ему: не просто большая, а у нее свое название есть. И сказал ему...

— Сказал?

— Конечно. А теперь вот вышибло из памяти.

— Немудрено. За столько-то лет. Ну, а в Чепраках наших часто бываешь?

Щеголев конфузливо смотрит в самые глаза односельчанина, признается:

— Да, считай, каждую ночь...

Односельчанин, будто в чем нехорошем уличенный Василием, тоже конфузится, в раздумчивости кивает, усмехается:

— Аналогичный случай.— Осторожно и вроде как даже вкрадчиво любопытствует:— Ты же в споре с Генкой верх одержал. Ну, а сейчас-то зачем тебе большая игла понадобилась?

— Да так...— говорит сбивчиво Щеголев.— В общем, надо...

Василию Щеголеву в самом деле надо. Ему кажется,

чувствует он это, если вспомнить сейчас название большой сапожной иглы, к нему вернулось бы что-то утраченное. Он смутно представляет, что именно, но что-то важное, необходимое...

1988 г.

ЦЫП, ЦЫП, ЦЫП!..

С неискренней доверительностью, сухо, бесцветно, стандартно, в прошлом партийная функционерка, а ныне профсоюзный лидер на фабрике, зовет наполовину пустой зал к «трудовому порыву», к «спаянности», к «ответственности за порученное дело», напоминает о «славных традициях коллектива», обещает «всестороннюю помощь и поддержку», заверяет...

Люди со скучными, окаменелыми лицами смотрят на нее, следят за ее жестами, но не внемлют ни единому ее слову, мысли каждого о чем-то своем и каждый ждет того вождя момента, когда можно будет вздохнуть: ну, слава тебе, Господи, закончила.

Вместе со всеми я жду того же. А дума моя о ней, вещающей с трибуны.

Еще когда она училась в девятом классе, директор школы однажды позвала ее в кабинет, сказала: «Завтра будет линейка... Выступишь со своим личным мнением,— и вложила в руку ученицы исписанный листок.— Я на тебя надеюсь, не подведи...» Она не подвела, прочитала на линейке «свое личное мнение» со всем старанием. Директор похвалила: «Молодец, отлично выступила: громко и с выражением». Ученица была польщена, но и думать не могла, что это выступление определило всю ее дальнейшую судьбу. В десятом ее избрали секретарем школьного комитета комсомола и вкладывали в руку бу-

мажку с ее «личным мнением», а она их произносила—громко и с выражением, потом был райком комсомола, потом горком, потом райком партии (между делом была альма-матер, ВПШ), горком и наконец обком партии. Везде ее хвалили, всюду дорожили, потому как ни разу не подвела—речи, вкладываемые в руку, произносила громко, с выражением... Но вдруг в жизни всё круто переменялось. Однако должность нашлась ей. В принципе должность неплохая, грех бы жаловаться, да вот незадача: теперь надо речи не по бумажке читать, а—прямо «из головы говорить».

И вот, сама толком не зная что, она говорит. А люди в глубокой тоске ждут: когда это кончится?..

Вспомнилось далекое-далекое.

...Проснулся я от того, что под окошком пропел петя: «Ку-ка-ре-ку-у-у!.. Наш петя голосистый. И красивый, как и в той сказке, которую вчера перед сном рассказывала мне мать,— «золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка». Мне очень захотелось хорошенько рассмотреть его головушку и потрогать гребешок и бородушку.

— Мам!—позвал я.—Поймай мне петю!..

Но матери в доме не было—наверное, корову доила или на речку за водой пошла. Не беда, я и сам не хуже поймаю: позову, посыплю проса и—лови... Спрыгнул с кровати, нашел в сенцах глиняный черепок. Но он был пуст. Просо хранилось в кладовке, да вот заходить в нее боязно—там темно и мыши шуршат. А я так—без проса. Вышел на крылечко, поднял, как это делала мать, над головой черепок:

— Цып, цып, цып!..

Первым показался петя, потом куры. Но увидев, что из черепка ничего не сыплется, разом осаждали себя, озадачились. Озадачился и я. Однако быстро нашелся. Тут же, возле крыльца нагреб в черепок всякого сору и позвал опять:

— Цып, цып, цып!..

Петя и куры наперегонки ринулись к крыльцу, но тут же поняли, что снова обмануты. Петя сердито кудкудахнул: «Плут! Мошенник!..» И повел своих хохлаток на улицу.

— А я устыдился и пошел в дом...

Профсоюзная ораторша все продолжает с фальшивым пафосом и доверительностью звать и воодушевлять полупустой зал:

— Цып, цып, цып!..

Но ни одна душа не внемлет ей: ее черепок—как и черепки других, самых разных рангов и мастей компартийных ораторов, еще недавно воодушевлявших в этом зале этих же людей—наполнен мертвым мусором, без единого в нем, даже случайного зернышка...

НА ЛОШАДКАХ

Когда Гришутке нашему года, наверно, три года, мы с ним в ближний лесок белых грибов поехали. Сначала парнишка хорошо так, бодренько попрыгал, а потом устал, опомляться стал, захныкал:

«Помоги, папа, я устал». Крепись, сын»,— но, понятно, не помог. Вижу, крепится, идет. Потом опять: «Помоги, папа, я устал». Крепись, сын»,— но, понятно, не помог. Вижу, крепится, идет. Потом опять: «Помоги, папа, я устал».

Я его еще раз подбодрил, еще шаг сбавил. Через десяток шагов опять на ручки запросился. Значит, всё, кончились силенки. Говорю:

«Теперь мы сейчас, сынок, лучше, чем на ручки, придумаем. Мы на лошадках поскачем. Хочешь?»

Ну, еще бы! Глазенки засветились. Подобрал я два прутика, один ему меж ног, другой себе. И «поскакали». Мигом к грибному месту прибыли.

1989 г.

ПАРА КАЗЕННЫХ САПОГ

Иван Кондратьевич Загоруй—мой давнишний друг. Балагур, острослов и немного философ.

— Представь себе, что ты—обычный мужик. Работаешь... ну, скажем, кладовщиком на шахте. Так вот, когда у тебя на десять горняков десять пар резиновых сапог, ты—просто кладовщик. Но если у тебя на тех же десять рабочих девять пар сапог, то ты уже не просто кладовщик, а—нужный, уважаемый человек, что суть начальник. И если при десяти парах сапог у тебя вскакивал чирей на заднице, то теперь, при девяти парах,—фурункул на ягодице. Вот каким свойством обладает—только у нас!—пара отсутствующих казенных резиновых сапог!..

1988 г.

ДОЛГАЯ НЕДЕЛЯ

Он же, Иван Кондратьевич, рассказывал:

— Вчера иду с работы—возле обувного магазина извивается змеей очередь: в тамбуре запасного выхода импортные мужские туфли дают. Как раз то, что мне нужно! «Вы, гражданочка, последняя?.. Я за вами». Чтобы очередь поскорее двигалась, завожу тары-бары. Говорю: «Вот я, гражданка, если хотите знать, каждое утро беру

с собой сто рублей». «Сто?!—недоверчиво переспросила женщина.—Каждое утро?» «Да, каждое божье утро»,—достал из кармана сотенную бумажку. Женщина аж сомлела. Потом подозрительно спрашивает: «Если вы по столько каждый день берете, то по сколько же домой приносите?!..» Тут из головы очереди дошла до нас весть: всё, кончились туфли. Говорю своей собеседнице: «А столько же, сто рублей, каждый вечер и приношу»,—положил свою истрепанную уже сотенную в карман и—домой с веселой песней. А чего? Век—долгая неделя, когда-нибудь что-нибудь и мне достанется...

1988 г.

ЕЛЕНА-ПРЕМУДРАЯ

Обыкновенный рубленый деревенский дом. Конец второго дня свадьбы. Молодые и вся молодежь ушли в березовую рощу. Часть женщин тоже направилась туда, часть сударит в детской. Их мужья кто выпивает за столиком в палисаднике, кто уже свалился с ног и, источая винный дух, похрапывает в предбаннике, в сенях на лавке, поперек кровати в запечье. В горнице за длинным свадебным столом лишь пожилые люди. Разговоры, воспоминания, вздохи.

— ...А хоть Лену Дергачеву вспомнить, отец,—говорит благовидная старушка Любовь Петровна такому же благовидному супругу Василию Егоровичу.

— Ну-у, Елена... Это, брат ты мой... Вот русский-то характер! Ну откуда, скажите мне, такое в человеке?—старичок обвел взглядом собеседников.

— Ты не спрашивай, ты расскажи-ка людям,—укорила Любовь Петровна,—какая в молодости-то была Лена. Прямо писаная красавица. Ей-богу, я таких в жизни боль-

ше не видывала. Черноволосая, черноглазая, вся налитая, как спело яблочко. А умница-то. А сердечная уж! Голос звонкий, веселый. Не было в нашей Заречной слободе— это под самой Казанью—парня, который бы не бредил ею. А уж девки-то ей завидовали—прямо страсть. Одним словом, сто сот стоила Лена. И кому ж как не ей счастливой быть. А вышло-то...

— А это, Любаша, с какой стороны посмотреть... Жила она вдвоем с матерью. Поехала однажды Елена к родне в Елабугу. Когда возвратилась, пошел по Заречной слух: выходит наша красавица замуж, со дня на день приедет жених. И правда, приехал. И увидели его зареченцы: немолодой уже, тусклый, неказистый, с плешинкой. В самом деле, такого ли заслуживала Елена спутника жизни. А вот... Сама выбрала. На вкус и на цвет товарищей нет: кому глянется попович, а кому сам поп— так что об этом ладно. Главное-то в другом. Идет по улице жених—Ерофеем звали, по фамилии Дергачев—и ведет с собой пятерых ребятшек. Мал-мала меньше. Боже ты мой!. Стали жить. Надо сказать, умом и старанием Бог Ерофея не обидел, семью содержал. Двоих деток местных нажили. Значит, стала семья в десять душ... А сколько-то времени погода—в одиннадцать: привез Ерофей сюда же, в Еленин дом, и свою первую жену. Забыл, мать, как звали-то ее?

— Наталья.

— Да, Наталью. Совсем хворую—туберкулез ее точил. Привез ее Ерофей, а тут и война вот она. Нас с Дергачевым вместе, в один день призвали. Елена не в пример другим женам, не голосила, на мужниной шее не висла. Три раза поцеловала, перекрестила по христианскому обычаю, глаза платком утерла да молвила: «До скорой встречи, Ероша. Ну, а если не судьба, то за семью не беспокойся. Выдюжу. Дюжкая я...»

— И ведь как еще выдюжила,—переняла рассказ Любовь Петровна.—Похоронка на Ерофея пришла по

пятому месяцу войны. И тоже Лена не каталась, как другие женщины, по полу в крике, не причитала, не жалобилась на судьбу. Но как бы закаменела. И кончилась Лена-звонкоголосица да весельница. Осталась Елена-премудрая... Мать ее близко к концу войны померла. А Наталья, суперница ее, промаялась, однако, аж до года сорок восьмого. Обихаживала ее, дурного слова не сказала, сестрой называла. И Наталья ее так же. А все дети и ту и другую мамой звали. Всех семерых худо ли бедно Лена вывела в люди. Ни за единого не стыдно ей... Вот как.

— Это в восьмидесятом году мы с Любаней ездили в Казань с родней повидаться. И у Елены побывали, как же. Седая совсем, лицо в клеточку морщинами изрезано, строгая и, верно, премудрая—как богиня...

1989 г.

ПРИТЧА О ВОРОБЬЕ

Жил-был Воробей. Самый обыкновенный—серый, невысокого и недалекого полета. Посиживал на одной ветке с соплеменниками, пугливо посматривал по сторонам,—нет ли поблизости какого супостата?—тихонько почикивал. В сварах равных ему не участвовал—отлетал в сторону, боясь быть побитым. По той же причине уступал другому нечаянно найденное зернышко. Когда натыкался на что-нибудь, что «плохо лежит», ему очень хотелось поживиться, но и в таких случаях не мог преодолеть страха—а вдруг...

И вдруг налетел какой-то шальной вихрь, подхватил Воробья и метнул вверх. И оказался серый веткой выше остальных. Захватило у него дух от непривычной высоты. Однако вскоре пообвыкся. И—вообразил себя Ястребом.

И полетели пух да перья с соплеменников, оставшихся внизу.

Из тех пуха и перьев серый, самый обыкновенный Воробей, вообразивший себя Ястребом, вьет себе гнездо орлиных масштабов...

1989 г.

ВО ДВОРЕ НА ЛАВОЧКЕ

— **А**у нас в прошлый вторник профсоюзное собрание было. Всего цеха. Народ на нового—с полгода работает—мастера Вагина поднялся. Такое ему говорили, такую критику, что не дай Бог. Все в один голос: убирайся, не доверяем ему и всё тут! Поднял руку и я. Встал и говорю: «Я простой уборщик, подметала. По службе с товарищем Вагиным, считай, не сталкиваюсь. Стало быть, критики про него говорить не могу. Но хочу сказать вот что, граждане. Как бы вы его тут ни ругали, ни костерили, а товарищ, значит, Вагин большой и способный ваш организатор...» Тут народ как загудит, как заволнуется. Кричат, мол, вечно ты, Шапошников, всех жалеешь. «Дайте,—говорю,—досказать-то мне. Я ж тоже в профсоюзе состою». Тут и председатель карандашом по графину постучал. Унялся народ. Говорю свою речь дальше: «Настоящий организатор товарищ Вагин. Когда он в цех пришел, что у вас было? Позабыли уже? Я надпомню: склоки, споры, дразга разная... А сейчас? Сейчас вы про все это позабыли и дружно все как один пошли против товарища Вагина. Ну? Разве он не организатор? Надо это в человеке видеть и ценить...» Народ опять загудел, засмеялся, захлопал мне дружно.

— Ну? И чем кончилось?

— О-о, брат, кончилось мирово. Когда собрание закрылось, фрезеровщик Михеев, детина под потолок, взял меня, как куклу, на руки и понес из зала...

— А Вагин? Я про него спрашиваю.

— А что Вагин? Народ нашумелся, выкричался, душу облегчил и живет дальше. Когда-нибудь еще будет собрание—еще душу облегчит... А больше что ему?..

1989 г.

ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА

Если коротко, то суть, смысл моей повести «Черный мальчик и белое облако» сводится к следующему: человек, у которого отняты красным режимом все права, отнята даже надежда вновь обрести их, в котором убита ~~вера~~ ~~и~~ ~~испепелена~~ любовь, ему остается одно—отрешиться от действительности, уйти в себя да и «эх, жизнь поломана конейка!»—запить горькую. Уж это-то право ему гарантировано, то есть гарантирован лицемерным режимом трагический исход.

Когда я писал эту вещь, я боялся самого себя. Боялся дрогнуть под напором неотступной мысли о сомнительной возможности опубликовать свое сочинение и потому мог очень легко соскользнуть на ровную дорожку соцреализмовского сглаживания острых углов и довольно благополучно прийти к «счастливому концу»... Нет, устоял, одолел самого себя. И за это хвала мне от меня же!

Когда рукопись повести была передана рецензентам, я боялся, что они, боясь взять на себя ответственность, грозящую возможными неприятностями, «зарезут» моего «Черного мальчика...» Нет, оставили его в живых, значит, одолели себя. Хвала их твердости!

Когда мою вещь стали со всех сторон оценивать уже сами издатели, я боялся, что они заботятся и для моей повести просто «не найдется» места в плане—ведь в первую очередь спрос будет с них, с издателей. Нет, в план меня поставили. Хвала решимости издателей!

Когда повесть была набрана, сверстана и отправлена в облит, то есть в якобы не существующую у нас цензуру, тут уж и говорить нечего—шибко я боялся. Боязнь моя была тем более велика, что к тому времени «Черный мальчик...» был поставлен в третий номер за 1984 год журнала «Наш современник», но с жестокой яростью выдран и выброшен вон самим Главлитом, и здешний облит был об этом уже проинформирован... Невероятно, но «Черный мальчик...» вернулся в издательство целым и невредимым. Мелкие царапины, конечно, не в счет. Хвала мужеству цензоров!

И вот наконец-то книга вышла в свет.

Пошли читательские отклики, самые разные—письменные и устные, хвалебные и возмущенные, умные и откровенно дурацкие... Один же, самый первый, был неординарный. Позвонил знакомый. Так, можно сказать, шапошно знакомый. Довольно пожилой человек, занимал сравнительно высокие руководящие должности, а теперь пенсионер, естественно, персональный. Он был разгневан:

— Это, дорогой вы мой, называется фальсификацией, подлогом. Где, на каких задворках нашей жизни вы это нашли, в какую заборную щель подсмотрели? Партия и правительство призывают вас изображать правду, которая возвышает человека, а вы взяли да измазали эту правду дегтем... За это ведь отвечать надо. По всей строгости!..

Это было в конце апреля восемьдесят пятого. А в конце второй декады мая, как мы все помним, вышло то самое антиалкогольное постановление партии и правительства. Тот же мой шапошно знакомый, прочитав его в газете, позвонил мне и возбужденно-ликующе, будто и не

было его первого звонка, стал рассыпаться в похвалах: — Чудесно! Я вас поздравляю! Ведь вы своим «Черным мальчиком...» предвосхитили решение партии и правительства. В самое яблочко попали. Поздравляю! От души!..

Мне было неловко, стыдно—за него стыдно—это слушать, а он хоть бы тебе что.

Антиалкогольная кампания постепенно провалилась. Правительство, как всегда в подобных случаях, признало это последним. И тогда я стал ждать очередного звонка от своего шапошно знакомого. Позвонит он и скажет что-нибудь язвительное... И он действительно позвонил и сказал, но вовсе не то, что я ожидал. Он был в растерянности, голос звучал слабо и сбивчиво.

— Это что же, скажите мне, творится? Читаю, слушаю, смотрю телевизор... Давление подымается, хвораю... Не пойму ничего... Мешанина. Куда ж идем-то?.. Страшно... Все рушится...

А на днях я прочитал в газете: «После тяжелой непродолжительной болезни...»

К чему я все это?

Страх присущ каждому из живущих, мы его обретаем в утробе матери (не знают страха только особого рода идиоты). Но одни боятся и делают именно то, чего боятся делать,—страх не в силах убить их принципы, убеждения, достоинство, честь, и значит, эти люди живы как личности. Другие тоже имеют принципы и убеждения, в нормальных условиях они не флюгеры, не хамелеоны, не сумы переметные, но в силу каких-то особенностей своего характера, стечения каких-то обстоятельств не выдерживают единоборства со своим страхом и становятся флюгерами, хамелеонами, сумами переметными. Это они так убегают и хоронятся от страха. Думают, что убегают. На самом же деле они, разрушившись, распавшись как личности, оказываются в добровольном плену у стра-

ха, его заложниками—столь же вечными, сколь вечна система, делающая ставку на страх. Доказательство тому последние семьдесят с лишним лет нашей истории.

1989 г.

ПОТРЯСАЮЩИЙ АФОРИЗМ

Гриша и Миша работали в небольшой конторе идеологического фронта. Однажды, лет четырнадцать назад, они выпивали. Как у нас водится, прямо на работе в рабочее время.

Выпивали, говорили, спорили по пустякам, остряли, смеялись, опять выпивали... И вот кто-то из них, не то Миша, не то Гриша, качнул хмельной головой в сторону серого дома—обкома партии, изрек:

— Они там хотят зажечь массы без факела, без спички, без искры—одним холодным, пустозвонным словом. А?!

— Слушай! Дерзкий, потрясающий ты выдал афоризм!

— Ты думаешь?

— Просто потрясающий! Без дураков! О! Выпьем за него!..

Выпили. Потом еще. И еще потом. И все говорили о «потрясающем афоризме». И по поводу и вокруг него. Договорились до того, что позабыли, кто из них двоих этот афоризм изрек. И со щедростью интеллектуальных богачей стали оказывать друг другу честь считаться автором «потрясающего афоризма».

— Конечно, извини меня, Миша, но выдал его ты.

— Пардон, Гриша, пардон! Такое не по моим прокисшим мозгам.

— Ша, Миша! Ты жестоко ошибаешься насчет своих
слов...

Д. Заходили сослуживцы, о чем-то справлялись то у Миши, то у Гриши по работе. Миша с Гришей походя отвечали и наперебой повторяли «потрясающий афоризм», тыкали друг в друга пальцем:

— Он сотворил!

— Так емко выразиться может только он!..

Авторство «потрясающего афоризма» в тот день так и не было установлено.

А через день Гришу и Мишу вызвали—естественно, по одному и в тайне друг от друга—«куда надо» и каждому задавали один и тот же вопрос:

— Это вы произнесли так называемый «потрясающий афоризм»?

— Нет. Я не произносил...— произнес дребезжащим голосом Миша.

— Нет. Я не произносил...— произнес дребезжащим голосом Гриша.

Слава Богу, ничего такого им тогда не было—отделавшись просто испугом и настоятельным советом прочно пометив в памяти «потрясающий афоризм». Гриша и Миша забыли—позабыли.

Но время вспомнили. Сам Бог велел вспомнить. Гришей и Мишей идет неугасающий огонь прилюдно:

— Миша, но тот «потрясающий афоризм» вы

сочинили, Гриша! Пardon! Потрясающий афоризм сочинен в моем стиле!..

1990 г.

НЕ ДАЙ, ГОСПОДЬ!

Бабушка:

— Это за все свои годы я скольких — вот посчитал бы кто! — гостей приняла. Ой, до чего ж, соколик, хлопотное дело! До того, родимый, хлопотное, что кабы — не дай, Господь! — не любила принимать, то ни в жизнь не принимала бы...

1990 г.

ДВЕ МЕРЫ ЗЕРЕН

Когда наблюдаешь сегодняшнюю действительность, размышляешь над происходящим вокруг, сама собой слагается вот такая незатейливая притча.

Жили по соседству три человеческих рода. Два из них постигло несчастье: не уродился хлеб. Третий род сжалился над страждущими, отнял от своих, тоже не очень богатых запасов и послал им по одной мере зерен.

Старейшины одного рода велели немедля смолоть зерна, испечь хлебы и накормить людей. Люди, насытившись, стали восхвалять старейшин за их Доброту...

Старейшины другого рода распорядились зернами иначе: велели сберечь их и по весне бросить в землю. Люди возроптали и угрожали жестокосердным старейшинам расправой. Но когда собрали богатый урожай, оценили Мудрость своих старейшин и решили устроить праздник благодарения им. Однако Мудрые старейшины возразили:

— Как можете вы праздновать, когда наши соседи, род Добрых старейшин, бедствуют.

И в соседний род были отправлены хлебные дары. Однако, возвратясь, посланники принесли дары обратно: род Добрых старейшин вымер от голода.

1991 г.

ЭКЗОТИКА

Когда «железный занавес» стал со скрежетом подниматься, стало чего только не услышишь, не увидишь, не прочитаешь о тамошнем житье-бытье. К примеру:

«В ФРГ на табачной фабрике за воровство одной-единственной, пусть даже бракованной сигареты, увольняют с работы безо всякого разбирательства».

Сообщил это ведущий радио России в конце выпуска новостей. Сообщил с улыбкой, без, так сказать, какой-либо утилитарной предназначенности, просто как нечто развлекательное, экзотическое.

А ведь и верно, для нас это экзотика. Чистой воды немецкая. В России такое, если бы даже кто очень захотел, невозможно. Даже никому во сне не привидится. Но, допустим, приснилось: ввели на наших фабриках, заводах, в конторах, магазинах, колхозах, на стройках жесткий немецкий порядок: украл сигаретку, унес домой гаечный ключ, присвоил телефонный справочник, утащил коробок спичек, уволок дощечку, сыпнул в карман горсть зерна — все, гуляй, граждане, на все четыре стороны. И все трудоспособное население громадной страны оказалось, как глазом моргнуть, безработным. И это было бы уже экзотикой для немцев. А для нас — глобальной национальной катастрофой, мало чем отличной от той, какую чуть было не учинил Петр Великий. Он повелел генерал-прокурору Ягужинскому: «Напиши именной указ, что ежели

кто и на столько украдет, что можно купить веревку, то будет повешен». «Но, Государь,— сказал Ягужинский,— неужели вы хотите остаться императором один — без служителей и подданных?..»

1991 г. .

СОЛОМОН

Времонтно-механическом цехе было отчетно-выборное профсоюзное собрание. С докладом — на двух тетрадных листках, исписанных крупным почерком,— выступил председатель цехкома сварщик Николай Хохлов — от природы тихий, унылый. После прений — если, конечно, можно назвать прениями вопрос пожилого слесаря Скороходова «ручку к двери душевой приделают или так и будем дергать за огрызок шпегата?» да реплику уборщицы тети Тони насчет того, что хоть и грамотный народ наши мужики, а «ходить в писюяр» еще не научились — собрание признало отчет Хохлова неудовлетворительным. Хватит, мол, потакать безделью — парткомов больше нет.

Стали выбирать нового председателя цехкома. Конечно, по принципу: только, чур, не меня, я ж вроде ничего худого коллективу не сделал, никак не спозорился, чтоб мне такой непочет оказывали, к тому ж в последнее время стал шибко прихварывать брат моего тестя, навещать его надо... В общем, подходящих кандидатур не оказалось, собрание зашло в тупик. Но лишь на короткое время.

В каждом, даже самом маленьком коллективе непременно есть свой простак, являющийся предметом разных насмешек, подначек, шуток, часто злых, коварных, и непременно же в каждом коллективе есть свой всеми признанный мудрец, Соломон свой. Он, как и подобает муд-

рецу, степенен, неспешлив, строг, не любит быть на виду, сидит где-нибудь в уголке, за спинами, весь погруженный в себя, безучастный. Однако когда требуется, с достоинством подымается во весь рост и скажет простое, краткое слово — всякому понятное и попадающее в самую точку. Был и в ремонтно-механическом цехе такой Соломон — сорокалетний токарь Петр Конев. Когда всем ясно стало, что выборы нового председателя цехкома зашли в тупик, Конев с достоинством поднялся и сказал членам профсоюза:

— Правильно тут говорилось: нельзя никого наказывать незаслуженно. Это было бы, друзья мои, аморально. Но ведь, друзья мои, аморально и вину оставлять без наказания. А поэтому предлагаю: председателем нашего цехкома вновь избрать Николая Хохлова — в наказание за полный развал профсоюзной работы в нашем цехе. У меня все.

Предложение цехового Соломона было встречено восторженными возгласами и дружным хлопаньем.

Унылый Хохлов, не найдя что возразить, чем защитить себя от железной логики Конева, сделался еще унылее и лишь обреченно махнул рукой.

1991 г.

ЭКЗАМЕН

Виюле восемьдесят четвертого большая группа кемеровских художников, писателей, музыкантов, артистов ездила в Сростки на Шукшинские чтения. Возглавляла группу и. о. заведующего отделом культуры обкома партии... Не стану называть ее имя, дабы не нарушать покой пенсионерки напоминанием, может, уже забытого ею кон-

фуза. Назову ее просто старостой группы. А конфуз вышел такой.

Уже после праздника в Сростках бийские власти организовали большую экскурсию по городу. После осмотра разных достопримечательностей, музейных экспозиций нам предложили вдобавок ко всему посетить действующую православную церковь.

Из алтаря навстречу нам вышел отец имярек — крепыш средних лет, наполненный силой, бодростью и здоровьем. Согласился ответить на наши вопросы.

Первый вопрос задала — нет, не с сухой «партийной принципиальностью», а с непосредственностью неумной кухарки — наша староста:

— Скажите, а вы в Бога верите?..

Все мы были ошеломлены и обескуражены — какой пассаж! — и устремили взоры на священнослужителя — что он?

— Дама,— басисто сказал священнослужитель, обдав нашу старосту взглядом совсем не смиренника,— не задавайте глупых вопросов!

Это прозвучало как резкая оплеуха. Староста сомлела, порозовела. Ей бы как-нибудь поаккуратнее ретироваться, а она, подкрепив непосредственность кухарки чисто партийным гонорком, начала возражать, вернее, торговаться:

— Но ведь бывают же, что не верят, а...

— Да-ма!.. — еще резче осадил ее священнослужитель и всем видом показал, что для него ее больше не существует...

Потом, когда вышли из церковной ограды на улицу, где власть батюшки не распространялась, обладательница власти партийной сказала спесиво:

— Нет, посмотрите, какой он, а!

Молодой актер попытался учтиво разъяснить ей:

— Понимаете, это то же самое, как если бы спросили

у вас: а вы, партийный работник, в марксизм-ленинизм верите?

Староста решительно отмела эту аналогию:

— Абсурдный вопрос. Раз я член партии — значит, должна верить.

— Вот и ваш вопрос батюшка тоже расценил как абсурдный. По вашей же логике или иной — это он один знает... Скажите, а кем и за какие провинности вы обязаны верить в марксизм-ленинизм?

Староста придержала шаг.

— Это что... экзамен? — спросила почти возмущенно.

— А вы что, к нему не готовы? — улыбнулся ей актер. — Так я вам подскажу. Вера во что и кого угодно — это убежденность. Осознанная, прочувствованная и свободная. Главное — свободная, а не по обязанности перед начальством, народом или приходом. Вера по обязанности уже не вера, а, извините, фарисейство, притворство ради какой-то корысти. О вере батюшки мы судить не можем, он отверг ваш вопрос. А вы... вы сказали честно-благородно. Понимаете?..

Староста неприязненно смерила взглядом долговязую фигуру актера, нехорошо, недобро как-то хмыкнула и отдалилась.

Она поняла. Но совсем другое.

Это, напомним, был еще только восемьдесят четвертый год.

1992 г.

И БОЛЬ, И РАДОСТЬ

— **П**лохо, ой плохо-о-о женился мой Витька. Придет с работы — не сварено, не мыто, не убрано... Берется сам. А что делать... А вот дочери, Ольге, правду сказать,

шибко повезло. Парень попался на все сто: и по магазинам пробежит, и пеленки состирнет, и ребеночка доглядит, и ужин сготовит... А жена и подружек проведает, и в кино ходит, и телевизор посмотрит... Нет, рада я за Ольгу, чего там...

1992 г.

МАША ПЛАКАЛА

Было это в начале шестидесятых в городе Осинники. Третьеклассников принимали в пионеры. Приняли всех, даже Олега Самусенко, а Машу Новоселову не приняли. Девочка горько плакала.

Я хорошо знал Машу. Всю большую семью Новоселовых знал. На зарплату отца, токаря, было не прожить. Выручал огород. Выращивали разные овощи и продавали на базаре. Старшие ребята подносили, мать торговала. А Маша помогала ей. Однажды мать отлучилась в магазин за покупками, Маша осталась за нее продавать огурцы: рубль за кучку. И случилось, что в это самое время по базару шла Машина учительница. Увидела за прилавком Новоселову, нахмурилась, покачала изумленно головой и пошла дальше — ничего не сказала.

Но ничего учительница и не забыла. Когда обсуждали, достойна или недостойна Новоселова быть пионеркой, учительница сказала:

— Считаю, недостойна. Учится примерно, но торгует на базаре огурцами. Разве можно быть одновременно и пионеркой, и базарной торговкой. Пусть исправится...

Тогда Маша и заплакала. Ведь получалось, что она хуже даже Олега Самусенко.

Олега я тоже знал. Еще в первом классе отличился тем, что украл у технички десять рублей. Его, можно ска-

зять, за руку поймали, а он бессовестно врал, что нашел. Бессовестный был. И хитрец большой. И лентяй. Учился с тройки на двойку, говорил, что когда он пишет или читает, у него болит голова. В третьем классе стал одалживать школьникам деньги. Но не просто так. Скажем, одалживал рубль, а отдавать ему должны были рубль двадцать. Его водили к директору и отчитывали. Он сказал: «Больше не буду. Честное-пречестное слово!»

Когда Олега принимали в пионеры, учительница сказала:

— По поведению Самусенко исправился, но учится пока слабо. Две двойки за четверть.

— Я исправлюсь!—пылко заверил Олег.—Честное-пречестное!..

— Класс тебе верит, Самусенко, — сказала учительница.— Не подведи.

И его приняли. И он давал торжественное обещание, что будет жить так, как завещал Ленин, как учит Коммунистическая партия. А сам, как и раньше, одалживал деньги и требовал за каждый рубль уже по тридцати копеек — десятник за риск набавил.

А Машу прозвали в классе торговкой. И она часто втихомолку плакала...

Сейчас Маша Новоселова живет в том же городе, что и я. Изредка перезваниваемся, бывает, видимся. Работает Маша швеей на фабрике. Ее прозвище, Торговка, осталось там, в Осинниках. Здесь ее одарили новым — Староверка — за то, что не разуверилась ни в людях, ни в их порядочности, что от работы не отлынивает, не халтурит, что с ученицами возится, как с родными дочками, хотя ее никто не заставляет, что ни лоскутка, ни нитки не унесет домой, что цветы в цехе развела. Кто же Новоселова, как не Староверка? Маша над своим прозвищем смеется, однако смех ее горький.

На днях позвонил ей:

— Читала, Маша?

— Как же, всей семьей читали,— вздохнула.— Как же так можно-то?..

Дело в том, что в одной газете была напечатана статья о проделках коммерческой фирмы «Медиана». Ее деятели ходили по заводам и фабрикам: «Женские, французского производства сапожки, вот такие — показывали образцы — надо?» Сапожки были загляденье, цена вполне приемлемая, срок поставки — месяц. Женщины теряли головы и раскошеливались... Прошел месяц, прошел другой, сапожек не было. А там выяснилось, что и «Медианы» уже нет, и глава ее Олег Самусенко как сквозь землю провалился с двенадцатью миллионами рублей, собранными под французскую обутку. Обнаружился Самусенко аж в Петрозаводске, где в качестве главы фирмы «Психея» собирал с доверчивых мам деньги под закупку уже детской импортной одежды... Недавно над Олегом и его сотоварищами был суд. В своем последнем слове Самусенко говорил: «Граждане судьи! Я все осознал и больше не буду — честное-пречестное!..»

1992 г.

НА ПЕПЕЛИЩЕ

Взнойную июльскую пору разом и дотла сгорели — почти впритык стояли — дома Мельниковых и Петерсов.

В окружении истошно голосивших жен, жавшихся к ним в страхе и поскуливающих ребятишек, скорбных односельчан Василий Мельников и Федор Петерс, оба бледные, непрерывно курили и молчали. Наконец Василий швырнул окурок в лениво чадающие головешки, сплюнул ему вдогонку, сунул коробок спичек в один карман куртки, а из другого вынул пятирублевую бумажку. Грустно улыбнулся.

— Хрен с ним со всем, сосед. Айда к бабке Тимони-хе — успокоительных капель прием.

Петерс не ответил. Тоже сунув в карман коробок, он нащупал там гвоздь. Извлек. Гвоздь был небольшой, — пятерка, — изогнутый почти под прямым углом. Вчера Федор сколачивал кормушку для кроликов. Этот самый гвоздь, угодив в сучок, искривился. Федор выдернул его, машинально положил в карман. И вот теперь сосредоточенно рассматривал его.

— Хм, — усмехнувшись, тряхнул головой Петерс, — выправить и можно начинать обзаводиться.

1993 г.

МОЛЕНЬЯ И ТРУДЫ

Ах, что за люди были, что за работники! Они незабвенны. О них часто думается, о них хочется рассказывать.

К примеру, Павел Константинович Ненашев. По возвращении с фронта ходил по селениям Кузедеевского района, плотничал, путался с «женьшинами» и, должно быть, окончательно запутавшись, переступил порог нашего дома. Дом будто осел и ужался: Павел Константинович роста был косая сажень, дюжий, налитой силой, с большой, приплюснутой, как кочан капусты, головой, светловолосый. Был застенчив и скуп на слово.

— Поживу, Петрович, у вас? — сказал отцу.

— Живи. Не жалко.

И стал Ненашев по сути нашим членом семьи.

При своей грузности, в работе был ухватливый и сноровистый. Когда он, скажем, окантовывал бревно, мне казалось, что его острый, весело сверкающий топор сам по себе мягко, с причмоком входит в древесину и ровно,

как по шнуру, сгоняет ленту щепы; коса сама по себе сбрасывает травы и веер к вееру укладывает в валок; деревянный двухрожник сам по себе накалывает на себя мощный тугой пласт сена, вздымает его и укладывает на стогу так ловко, так к месту, словно он там век был,— все, казалось, делает само орудие, а роль Ненашева лишь в том, чтобы орудие крепко держать. Превратив ли бревно в сияющий белизной брус, пройдя ли длинный и широченный прокос до конца или уложив на стог последний пласт сена, Павел Константинович обернется на меня, мальчишку: лицо разгоряченное, глаза восторженно-веселые, шальные, скупое засмеется, скажет:

— Вот так, Ова! Смекайте... (называл меня только Овой и, как и вообще всех, на «вы») — и опять принимается за дело...

...Встретился Павел Константинович Ненашев с порядочной, самостоятельной «женьшиной», и закончились его сердечные драмы. Обзавелся хозяйством. Однажды мы с отцом пожаловали к нему в гости. Отец остановился за несколько шагов до распахнутой хозяином калитки, стал рассматривать новый статный дом, улыбочиво глядящий на луга за рекой Кондомой. Рассмотрел хорошенько, сказал вот эти слова:

— Да, Павел Константинович. Труд нужен душе всякого человека, как молитва верующему.

Ненашев был польщен и немного смущен. Улыбнулся, подмигнул мне:

— Вот так, Ова. Смекайте, говорю...

И вот по прошествии полувека я смекаю: фарисейские, лицемерные моления—лицемерные и труды.

1993 г.

На шахте «Бутовской» шло празднование ее пятидесятилетия. Ведущий спросил у поднявшегося под бравный марш на сцену Володю Шабалина... извините, у почтенного шахтера, орденоносца Владимира Ивановича Шабалина—все не верится мне, что человек седьмой десяток разменял, что за плечами его сорок лет как один день работы под землей... У матери, технички, их осталось четверо, когда умер отец. А тут и война вот она. В школу Володя бегал босиком—по снегу, в мороз. И добежался—отнялись ноги, ничего не чувствуют. Всю зиму сидел на печи. Мать всяческие снадобья перебрала, помогла обыкновенная сенная труха, в горячем ее отваре отошли ноги. И как жить-быть дальше голодному, голому, босоногому? Дружки, такая же голь, звали с собой «на дело». Нет, сказал, не по мне это. Пошел на шахту—просить работу. Взяли. Лампоносом. Было Володе в ту пору всего двенадцать лет. Там, под землей, дорастал, мужал, ума-разума набирался. Стал первоклассным проходчиком, безупречным трудягой. И вот такая особенность: чего за жизнь не повидавший, не испытывший, не переживший, Володя сегодня смотрит на мир без обид и укоров чистым и честным взором отрока—того двенадцатилетнего. Вот я и забываю постоянно добавлять к его имени отчество. Ну никак они у меня, в моем сознании не связываются... Так вот, ведущий спросил у Владимира Ивановича Шабалина, дескать, что вас подвигало к безупречному труду.

Володя не раздумывая ни мгновения, ответил с простодушной прямоотой:

— А дурак был. Получу задание и—рад стараться.

По залу пробежала легкая волна смеха,—мол, наконец-то осознал...

Нет! Ничего подобного. Это вовсе не раскаяние было, не самоукор. Напротив, Володя прибег к очень характер-

ному для русского человека способу подтрунивания — вроде бы как над собой, а на самом деле над другими, внутри гордясь собой: да, я любил работу, а она меня, и тем был счастлив. За что вы меня и называли дураком...

А каким-нибудь часом позже, уже за праздничным столом был предложен тост:

— За «дураков», которые и есть соль земли русской...

1993 г.

ФАНТАЗИЯ

Цех. Начало смены. Хмурые, с бледными страдальческими лицами. Работают через пень-колоду—лишь для видимости. То и дело поглядывают на входную дверь и злословят:

— Рынок, рынок, говорят. Но где он к хренам? А народ уже вконец изверился, устал ждать...—Поглядывают на дверь.

И вот она с шумом распаивается, вбегает взбудораженный мастер:

— Мужики, братцы! На подъездной путь только что вагон поставили. Срочно, братцы, разгрузить надо!..

Мужики скучно шутят:

— А в вагоне-то что—«столичная» или «рояль»?

Мастер торжественно:

— Рынок, ребята! Тепленький, готовенький к употреблению. Только—разгрузить. Айда!

Все разом:

— У-у-у... А почему это мы должны? Разгружать не наш профиль,— и тихонько, воровато разбредаются по разным углам. Рассаживаются там кто на что, закуривают, продолжают злословить. Но уже о «плохом» начальстве, которое только и знает, что заставлять да понукать,

платить не хочет. Злословят и нетерпеливо поглядывают в дверь.

И вот она опять с шумом растворяется, в ней—ну, наконец-то!—гонец за «роялем».

Все стекаются в один сумрачный угол.

Через какое-то время жизнь становится хорошей. Жизнь «без догмата» и «без всяких глупостей»...

Конечно, фантазия это, выдумка. Но—ведь правда же?

1993 г.

ДИАЛОГ ЧЕРЕЗ ПОРОГ

Около семи вечера. Звонок в дверь. Открываю. Молодая, остроглазая, разбитная. С раскрытой амбарной книгой. В желобке разворота прижатая пальцем ручка.

— Я из жилуправления. Правила противопожарной безопасности знаете?

— Знаю.

— Распишитесь, — суёт ручку.

— А еще я знаю, что сегодня четверг, что Земля—шар, что Пушкин родился в 1799 году... За все это тоже надо расписаться?

— Да меня, как на чудо-юдо, — ничего не по...

— Правда на жилуправления?

— Не верите?

— Верю, хотя вы должны были назваться и показать документ. Но—ладно. Верю. Без росписи. А вот вы мне не верите, что я знаю правила противопожарной безопасности.

— Почему? Верю.

— Ну так и до свиданья.

- Но—вы распишитесь.
- В че-е-ем?
- В том, что вы проинструктированы.
- О чем?
- О правилах пожарной безопасности.
- Кем? Когда?
- Мною. Сейчас,— улыбается кокетливо.
- Не слышал.

Надеялся, устыдится, сконфузится. Ничего подобного не замечается.

- Но вы же сказали, что знаете правила.
- Знаю. Давно. Но—не от вас.

Льстиво:

- Ну и ладно. И хорошо. Распишитесь.
- Скажите, вы честно работаете?
- Ну как. Конечно, честно. А что?
- А вот я солгал вам. Не знаю я правил противопожарной безопасности. Извините.

С покровительственной снисходительностью:

- Да кто их знает-то?!
- Правильно, никто. Вот вас и послали инструктировать. А поэтому переступайте через порог, проходите, садитесь и честно-благородно инструктируйте меня и получите мою роспись. С огнем шутки плохи.

Опять льстиво:

- Ой, это так долго. Распишитесь и—все.
- Долго, зато честно.

Вдруг вспыхивает:

— Что вы за честность уцепились! Не я же все это придумала. Мне сказали: собрать росписи... Не хотите—не надо. Сама за вас распишусь. На вид серьезный мужчина, а рассуждаете, как...— посверлив пальцем висок, одаривает меня презрительным взглядом, тянет дверь на себя, защелка клацает.

Инструктировала она неспроста. С месяц назад в одной из квартир нашего дома случился пожар. Чтобы та-

кого ни в кои веки больше не случалось, нужно всего лишь собрать росписи жильцов. Всё ведь так просто. Но все равно находятся дураки, которые этого не понимают.

Чтобы узнать, скажем, вкус воды в море, необязательно ведь выпивать все море—достаточно и одной капли. Чтобы понять, в чем пагуба, злосчастье народа, необязательно одним сочинять, а другим, морща лоб, постигать пухлые тома разных исследований—достаточно вот такой капли, как этот маленький, мимоходный диалог через порог.

1993 г.

ДОСТОЙНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА

Дело было вскоре после августовского путча, когда по стране покати́лась мощная волна низвержения красного Кумира: партийные комитеты опечатывались, все кумачево-серпасто-молоткастое, лживо-оптимистическое, лицемерно-славословящее снималось, убиралось, отправлялось в утиль... И взмывали ввысь трехцветные флаги.

Докати́лась та волна и до наших палестин. К представителю президента города М. стали поступать сигналы: там-то перекосы, в другом месте перехлесты... Поехал по учреждениям, предприятиям, заведениям. Перекосы с перехлестами были (да без них, пожалуй, и Русь Русью не была бы), но, слава Богу, чего-то из ряда вон выходящего, вопиющего не наблюдалось.

Когда представитель президента вышел из одной из школ, его настигла немолодая учительница. Воровато огляделась по сторонам, с верноподданической заискиваю-

шей улыбкой потянулась устами к начальническому уху, тоном заговорщицы проговорила вполголоса:

— А у нашего директора в кабинете как висел, так и висит портрет этого доносчика—Павлика Морозова.

— Да что вы говорите?!—в тон ей «изумился» представитель президента.

— Висит! Честное слово! Ей-Богу!—заверила учительница. В полный голос.

— Скажите, а вы...—начал таинственным шепотом представитель президента.

— Что?—тоже перешла на шепот учительница.

— Вы ж, наверно, и читали про Павлика, и ученикам проповедовали его?

Учительница замаялась, лицо ее приняло жалкое выражение. Залепетала бессвязно:

— Так время-то было... ведь мы же... ведь нас же...

— Не расстраивайтесь.—Представитель президента приблизился к уху учительницы, как давеча она к его уху.—Я вижу, вы хорошая, настоящая ученица и последовательница Павлика Морозова. Гордитесь!—прикоснулся ладонью к ее руке выше локтя и направился к машине.

— Так я всегда его... и ученикам в пример ставила...—торопливо заверяла учительница удаляющуюся начальственную спину.

1993 г.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Долго суетились, гадали, бранились...

Наконец порешили: «Едем! В богатое время! Все по местам!»

Завести машину завели. Но оказалось: рулевое управление барахлит; фары ненадежны—то ближний свет есть,

дальнего нет, то наоборот, то вообще никакого; в двигателе стук; выхлопная труба стреляет...

Меж механиками брань.

Меж водителями и того пуще—кулачные потасовки: выясняют, кто лучше рулить умеет, с какой скоростью ехать, по какой дороге.

А пассажиры в кузове ждут. От нечего делать—ну, а что делать-то?—кто советы подает спорщикам-потасовщикам, кто призывает к примирению и поиску проклятого консенсуса, кто уверяет, что и в пути можно разобраться—главное-то к цели двигаться, к Богатому Времени...

А тем часом ловкие да сноровистые общие дорожные запасы под шумок умыкают, узелки да авоськи запасливых собратьев потрошат. Раздаются призывы к водителям приструнить ловкачей, но, увлеченные разборкой, водители ничего не слышат.

Тут же, в кузове—а где ж им быть?!—и те, кому «всё до фени». Им безразлично, куда, в какое время ехать. А и никуда не повезут, так не опечалятся. У них своя «одна, но пламенная страсть». Под тот же шумок отвинтили у автомобиля колесо,—вместо него старое тележное поставили, чтоб не так заметно было,—по дешевке загнали, прокутили. Оказалось мало. Таким же манером—второе колесо. Мало! Третье. Мало! Мало!.. Всё, автомобиль «обут» в одни тележные. А мужикам—хочца. Но мужики-то не простые, а—наши и, значит, дошлые. По очереди залазят с тележного колеса на небо, трясут Бога за бороду: душа за державу страдает, на нет печалью исходит—давай. И Бог дает. Еще и сырок прилагает.

А время идет. Мотор сжирает горючее, аккумулятор вот-вот «сдохнет», стук в моторе усиливается...

Народ в кузове нервничает:

— Шофера, мы уже устали ждать...

Ловкачам тоже хочется большего простора для действий. Уж на что равнодушны ко всему те, кто к Богу с ко-

леса лазит, и они уже мечтают о смене окружающего пейзажа.

А шофера все разбираются меж собой. Уже охрипли, уже довольно наставили друг другу «фонарей», а согласия нет как нет. И вдруг все разом вспомнили про наши родимые «авось» да «небось». И с места в карьер. Напрямки, куда кривая вывезет, докуда колеса, теряющие спицы, выдюжат.

Э-эх! Сторонись, прохожий! Русь в Богатое Время едет!..

Вот такое впечатление.

1993 г.

ДЕТИ ОДНОГО ОТЦА

Случай малоизвестный, потому как произошел он еще при жизни, земля ему пухом, Леонида Ильича и в силу своей курьезности и одновременно драматичности не предназначался для всякого уха.

А случай такой. По именному заказу английской, многие ей лета, Елизаветы Второй японские мастера сработали ковер размерами двенадцать на семнадцать метров. Это была сказка, воистину восьмое чудо света. Карнавал красок, тонов и оттенков поражал своим великолепием. Самое же поразительное было то, что все изображенное на ковре—облака, ручей, деревья, цветы, птицы, звери...—с приближением зрителя оживало, приходило в движение: тысячи и тысячи тончайших, длиной 100 миллиметров ворсинок были так чутки, что реагировали на малейшие колебания воздуха. Отправили это чудо кратчайшим путем—через Страну Советов. И горько потом пожалели. На станции Инской, под Новосибирском,—королевская собственность пропала. Запахло межправительствен-

вым скандалом. Наши сыщики кинулись искать. Не вдруг, но нашли. В обыкновенном бревенчатом доме одного путевого рабочего.

— Негодяй,— сказали сыщики похитителю,— знаешь ли ты, чей это ковер? Самой английской королевы!

Негодяй нимало не смутился, больше того: он расправил плечи, гордо выпятил грудь, бросил зло, с вызовом: — А чем я хуже королей?!..

Объяснялся с королевой сам посол СССР в Великобритании. Когда он—так, мимоходом—передал Ее Величеству хамские слова ее лиходея, реакция королевы была совсем не той, на какую наш посол рассчитывал. Мягко улыбнувшись, она кивнула согласно, дескать, конечно, конечно, любой человек ничем не хуже короля или королевы—мы все дети одного Небесного Отца. Однако по-королевски тонко, деликатно, извинительной интонацией стала объяснять, что с большим удовольствием подарила бы русскому железнодорожнику что-то другое, но не ~~этого~~ ведь он уникальное произведение искусства и ~~нельзя~~ для пополнения японской этнографической коллекции. И она надеется, что ковер...

Этого посла прошиб холодный пот. Однако он был ~~человеком~~ сильного характера, взял себя в руки и сказал: — Ваше Величество, ради чего и явился:

Ваше Величество. Похититель вашим чудесным ковром задрапировал свою горницу—и пол, и стены, и потолок, изрезав его на куски. И к великому сожалению...

Посол увидел: королева побледнела, взор ее затуманился.

— О Боже!.. Какое кошунство,— прошептала Ее Величество, откинулась навзничь и потеряла сознание...

От возмещения ей убытка—миллионы фунтов стерлингов—Елизавета Вторая отказалась...

Так мне рассказывал несколько лет назад один, посвященный в это дело, железнодорожник.

Так, случается, рассказываю и я. Слушатели мои изумляются и приходят в восторг:

— Наш мужик! До последней капли русский! Правильно: любить—так королеву; воровать—так ее миллионнофунтовый ковер. Мо-ло-де-е-е-ц!..

1993 г.

ЗАГАДОЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Один из последних пленумов Союза писателей России.

Приняли повестку дня и тут же про нее забыли: уже несколько лет, как зал заседаний Центрального дома литераторов превратился в Гайд-парк. Вдребезги расколотые, писатели погрязли в раздорах, дразгах, склоках. Никто никого не слушает и не слышит, каждый восходящий на трибуну рискует быть захлопанным, затоптанным, заулюлюканным и прогнанным, но каждый хочет самовыразиться, а потому всяк ищет какой-нибудь способ продлить прекрасные мгновения своего витийства. Один ошеломит собратьев по перу на ходу придуманным сенсационным сообщением; другой пуляет в презираемый зал каламбуры, прибаутки, остроты; третий изловчается нанести удар противникам с самой неожиданной стороны и по самому незащищенному месту. Словом, кто на что мастер.

Вот поднялся на трибуну мой земляк-сибиряк красноярец Б-ов—молодой, красивый, напористый и злой. Наверное, как всегда, рубанет прямо без обиняков и оглядки что-нибудь этакое. И точно—рубанул:

— Вот говорят, что евреи умные, что они все могут. Ладно, согласен. Но тогда пусть они—я требую!—ответят: почему же мы, русские, великая нация, такие бедные?..

Одни в зале с восторженным одобрением заплодировали ему, другие весело рассмеялись, третьи пришли в недоумение, граничащее с шоком... А один сосед толкнул соседа локтем:

— А ведь он и сам тоже не дурак. Дураку-то такое в ум не взбредет.

— Кстати, он и прозаик умный, безупречно логичный. Но, как видишь, это ничуть не мешает ему одновременно быть и жидофренником. Удивительное и загадочное сочетание.

1993 г.

ВСЯ ПОДНОГОТНАЯ

Был на шахте. В мехцехе случайно познакомился с Петром Никаноровичем Столешниковым. «Обыкновенный электрослесарь». Это он сам о себе так сказал. В действительности же это искусник, колдун, какими Всевышний никогда не обделял православную Русь. К примеру, смастерил Петр Никанорович небольшое устройство, и у него обыкновенная ножовка по металлу сама пилит. Отпилит что ей велено—три раза тоненько свистнет, дескать, готово, какое еще будет задание? Для кузнецов сработал механическую руку, которая ловко вынимает из горна раскаленную добела железку, аккуратненько кладет ее на наковальню и держит при ковке. Чтобы войти в мехцех или выйти из него, нужно козырнуть двери, отдать честь, и она уважит вас, отворится. Много разных придумок Столешникова внедрено в других производственных цехах, на подземных участках. И все неожиданные, оригинальные.

И сам Петр Никанорович человек оригинальный, лет пятидесяти пяти, малого росточка, пухлотелый (отсюда

его прозвище—Петя-пончик), выражение лунообразного розового лица по-ребячески непосредственное, глаза густо-голубые, искристые, речь мелодичная, окающая. При разговоре то и дело конфузливо смеется, как бы стыдясь своей душевной распахнутости.

Увлек меня Петр Никанорович. Шел по длинной улице, ведущей от шахты к автобусной остановке, мечтал: выберу время, познакомлюсь с ним поближе, расскажу о нем в газете...

День был знойный, душный. Захотелось пить. Вижу, в одном дворе человек закончил бросать уголь в сараюшку и теперь смывает из шланга пыль с бетонного тротуара. Подвернул:

— Напиться можно?

Человек—сухопарый, жилистый, седой—молча протянул мне шланг. Вода, видно, скважинная—ледяная прямо. Сделал два глотка—заломило зубы. Вернул шланг и не утерпел, похвастался:

— Только что на заводе с Петром Никаноровичем Столешниковым познакомился. Может, знаете такого?

— Петю-пончика? Как не знать, лет двадцать в мехцехе вместе работали,—сухо ответил человек.

— Вот как! Расскажите что-нибудь о нем.

— Что именно?

— Он меня как выдумщик, рационализатор интересуется.

Какое-то время человек продолжал смывать угольную пыль, потом дотянулся до вентиля, перекрыл воду, положил шланг на пол.

— Как рационализатор, говоришь?—вперив взгляд себе под ноги и скрестив руки на груди, углубился в длительное раздумье. Наконец поднял на меня серые, глубоко сидящие глаза, они светились потайным лукавством и нетерпением.—Я тебе всю его подноготную скажу. Значит, живет Петя-пончик вон,—указал пальцем через улицу наискось на дом, отличающийся от других домов, как мне показалось, неуловимой похожестью на хозяина.—Так

вот, жена его, Маруська, еще год назад взяла у моей жены ступку, что-то там истолочь, да и с концом—по сей день не ворачивает. А поэтому какой Петя-пончик рационализатор?—человек добавил к сказанному смачную непечатную фразу, поднял шланг, открыл вентиль. Струя воды со змеиным шипением стала разбиваться о бетон, орошая мои сандалии и заставляя меня пятиться за калитку.

1993 г.

ДОПОДЛИННО

Внеухоженном сквере перед районной автостанцией сидят на речной лавочке двое. Один пожилой, угловатый, обветренное лицо, выгоревшие до белизны волосы, шершавые толстопалые руки. Стародавний, с острыми лацканами, но совершенно еще новый костюм выглядит на нем как-то неуместно, слишком празднично. Справа от него на лавочке большая со вздутыми боками изрядно потерявшая коричневого дерматина сумка. Слева сидит второй—помоложе, судя по всему горожанин, самую малость навеселе. Говорит:

— Так, так. Значит, говоришь, в гости к дочке поехал?

— Да вот снарядился. К старшей. Она близко, в Прокопьевске живет. А младшая, та... К младшей надо аж трое почти суток ехать.

— Далеко-о. Поди, деревенских гостинцев везешь?— горожанин кивает на сумку.

— Знаю дело. Без гостинцев-то как?

Непродолжительное молчание. Горожанин закуривает папиросу и опять обращается к пожилому селянину:

— Так, говоришь, по правде живешь?

— По правде,—охотно и прямо отвечает селянин.

Собеседник пристально смотрит ему в глаза. Пожилой, думая, что ему не верят, спокойно, с достоинством подтверждает:

— Всю жизнь по правде жил. Доподлинно.

Горожанин внимательно оглядывает костюм пожилого, туфли, тоже стародавние, новые и неуместно праздничные, переводит глаза на сумку с гостинцами.

— Верю. Всей, как говорится, душой. Только вот одного не пойму.

— Это чего же?

— Если по правде век живешь, то почему ты до сих пор по миру не ходишь, в тюрьме не сидишь?

Пожилой сразу не понял вопроса, стушевался было. Но уже в следующее мгновение сообразил, засмеялся негромко:

— И это доподлинная правда. Всю жизнь живу, всю жизнь сумы и тюрьмы боюсь. Но—Бог милует...

1993 г.

ТЕРРИТОРИЯ

Возле хозяйственного магазина улицу оглашала громкая брань совсем еще молодых женщин с фанерными лопатами в руках. Разделенные узкой, может, в метр полоской, неочищенной от снега, они, не стесняясь в выражениях, с жаром выясняли, кто из них должен очистить эту самую полоску. Поскольку у них на двоих был лишь один-единственный аргумент—«твоя территория—ты и убирай»,—то перебранка обретала все больший накал.

Мне, мимоходом наблюдавшему эту сцену, вспомнилось кем-то рассказанное. Один немец с утра пораньше принимался подметать двор своего дома. Увлекался и безо всякой корысти или какого (недоброго) умысла или

еще чего подметал территорию и за своей оградой, которая была территорией уже другого немца—наемного уборщика. Один раз уборщик, явившись исполнять свои обязанности, увидел часть своей территории выметенной, в другой увидел то же самое, а после третьего раза подал на своего соплеменника заявление в суд: это по какому же праву он позволяет себе делать то, что входит в обязанности другого?..

Очень подмывало меня подойти к молодым дворничихам, надсажающимся в крике, и рассказать им немецкий случай, но—поостерегся: не поверят ведь, сочтут за насмехательство над собой и, объединившись против меня, чего доброго, обломают мне лопатами бока. Пошел своей дорогой.

Через пару часов иду обратно. Снежная полоска шириной в метр так и осталась неочищенной. Дворничих не видно. Может, отправились в суд, чтоб выяснить, чья же территория—та узенькая полоска?

1993 г.

МУЖИКИ

Исходил, исшарил весь сосняк—нет как нет рыжиков—рано, всякому овощу свое время. Вышел на опушку, обобрал с одежды репы, колючки, сел на старый пенек, закурил. Отсюда, с пригорка, как на ладони виден широко раскинувшийся по ложине горняцкий поселок, дальше за ним виднеется копер шахты, эстакада.

Вот уже сколько лет езжу по грибы только сюда. И замечаю, что поселок год от года все больше светлеет и становится выше, будто на цыпочки поднимается—это исчезают черные, приземистые бараки, хибары, неказистые домишки, а вместо них вырастают желто-лаковые, часто

в двух, а то и в трех уровнях терема. Поселок все больше обретает черты какой-то приятной романтической нездешности, больше в нем замечается благородства, солидности.

В стороне от поселка на безлесном косогоре пасется стадо коров. Впрочем, дюжина пеструх—какое стадо. Вот еще несколько лет назад было стадо. Небольшое. А когда-то давно, рассказывают, было два больших. И вот какая зависимость наблюдается: чем больше светлеет, подымается вверх и облагораживается поселок, тем больше иставает стадо. Можно и так сказать: чем меньше остается неказистых домишек, тем меньше стадо. В неказистых домишках живут в основном старики. Это их дюжина пеструх. Молодые же из теремов никакой живности держать не желают. Хлеб промышленности, говорят, добываем, а не в бирюльки играем. К тому ж сенокосов нет, выпасов нет...

Значит, дело происходило в этих самых местах. В двадцатые годы, когда в Кемерове действовала знаменитая индустриальная колония (АИК) «Кузбасс». На ее шахтах нашли себе работу крестьяне окрестных сел, в том числе и того, которое потом превратилось в поселок, наблюдаемый мной сейчас с пригорка.

Так вот, руководитель колонии Рутгерс, образованный и предприимчивый голландец, обратил внимание на такую закономерность: как наступает лето, дисциплина среди местных рабочих заметно падает, многие не являются на работу неделями. Естественно, добыча угля сокращается. Выяснилось: русские мужики заготавливают сено для своих коров. Зачем, удивился Рутгерс, когда у колонии есть своя прекрасная, высокопродуктивная ферма! Собрал мужиков, предложил:

— Покупаю за хорошую цену ваших коров, а молоко будете брать на ферме—за чисто символическую плату. Согласны?

Мужики крепко задумались, почесали затылки, сказали:

— Нет. Без коров нам—никак.

Рутгерс тоже задумался. Сказал:

— Хорошо, я даю за ваших коров по две хороших цены, а молоко будете получать бесплатно.

Глаза мужиков запоблескивали—такое предложение их заинтересовало. Прикинули что-то в уме, дали ответ:

— Пожалуй что, оно того... Однем словом, согласны...

И что же? Коров мужики сдали, деньжата получили. А на работу не являются. Что за притча? Оказалось: завершив сделку с Рутгерсом, мужики, не откладывая дела в долгий ящик, отправились в дальние таежные деревни, купили там по весьма сходным ценам по две хороших коровы и принялись заготавливать на них сено.

Рутгерс:

— Но как же так?!

— Хозяйство без коровы—мужик без надеи. А теперь у нас той и другой—по две,—сказали мужики.

Об этом случае тогда же одна американская газета поместила статью под названием: «Как русские коровы посрамили западную демократию».

На пригорок подымается—прямо на меня—пожилой человек с косой на плече. За несколько шагов указал глазами на мою пустую корзину:

— Нету?

Я молча развел руками.

— Пора бы, чего это он. Здорово-были!

— А вот косить-то уже поздно. Да и нечего.

— Когда животину держишь, так изловчишься, накопишь. А когда ее нет, то верно—нечего.

— Тяжело сегодня держать?

— А то! Но и без нее никак. Надеяться-то не на что.

Знакомое рассуждение. Я рассказал о мужиках и Рутгерсе.

— Все правильно,—сказал человек.—Про завтра лю-

ди думали. А теперь наоборот: коров посрамляет демократия. Не заграничная, а наша, в доску русская. Открыли все ворота и что потащили из-за моря? Итальянские аж трехкамерные холодильники. И держут в них говядину австралийскую, масло французское, сало австрийское, сыр голландский—не путай с нашим «голландским», которого давно уж и в помине нет. Понаперли разных забав, удовольствий, лакомств, развлекалочек. Позавчера на шахте зарплату выдали. Бригада скинулась. «Беги,—говорят,— Ванька, бери «Белого орла», да столько, чтоб потом не бегать, и прихвати одну «российскую»—для связи—хохочут!—с родиной...» Эх, бедная ты, родина!.. Хотите быть богатыми, сытыми, пьяными—одним словом, счастливыми, притом—заметь!—сразу, без промедленья. А когда ж, мужики, начнете думать, считать, искать, заботиться, то есть работать, рынок свой строить? А,—говорят,—мы устали. Тьфу, мать вашу так! Только еще начинать работать, а «мы—устали» Так вот... А родина-то богатая. Несметно. Куда ни глянь, ни ступи—всюду «золотое дно»... Ладно, вам жить. А мы свое отжили уж... Это на той стороне бора в низине полянка есть. Я ее еще в середине июня выкосил. Стожишко нагрел. А теперь отава выдула такая, что будь здоров. Теперь второй укос возьму и как раз теленку-то будет...—И человек пошел своей дорогой.

А я, поднявшись с пенька, своей.

1994 г.

И НАСТАЛА ПОРА...

Зимним морозным вечером Буров возвращался со службы домой. Глядь, дверь его подъезда болтается на одной нижней петле. Возле—четверо жильцов. Разделились на две пары, митингуют. Одни двое яро, с нервным

убеждают друг друга, что мерзавцев, которые все рушат, калечат, надо убивать. Брать колья, и — прямо на месте. Иначе однажды проснемся на улицах. Двое других столь же яро, злобно доказывают друг другу, что пора брать топоры и отрубать головы мэрам, губернаторам, президентам, иначе Россия покатится до полной анархии. Ишь: в полдень какие-то похитили дверь изуродовали, а жэковские ремонтеры глаз не

Давидов Бурова, обе пары, соперничая меж собой, стали, чтоб митинг был жарче, перетягивать на свою сторону. Однако Бурову удалось увернуться. Он поднялся в свою квартиру, вооружился молотком, отверткой, щипцами и — Митингующие пары, сообразив, что он замыслил, перестали митинговать, вдруг каждый вспомнил, по какому неотложному делу он вышел из дому, и разошлись в разные стороны. Буров остался с угрюмо похилившейся дверью один на один...

Когда дело было сделано и дверь осанисто и мягко заехала на двух шарнирах, Буров утер взмокший лоб. Сошел на лавку и с удовольствием закурил. Только закурил, дождались домой, справив свои дела, соседи-митинганты. Каждый считал необходимым вежливо укорить, дескать, на кой ляд тебе это надо было — жэковцы-то совсем расстреляются, все на жильцов переложат, а себе только одну заботу оставят — квартплату драть. Довод Бурова, что градусник показывает уже двадцать восемь ниже нуля, а в квартирах первого этажа есть дети малые, не слышали — успевали скрыться за дверью...

С каким вдохновением, как проникновенно певал Федор Иванович Шаляпин великую русскую «Дубинушку». Еще до революции многотысячные аудитории на городских площадях собирал. Поведает о разных тяготах и горестях русского человека и —

Но настанет пора, и проснется народ.
Разогнет он могучую спину,

И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.

Настала такая пора. Отыскал народ и дубину хорошую, и топор вострый и осуществил заветную мечту-желание: поперегубил кровопивных злодеев. Новые власти нарекли себя «слугами народа», а народ «хозяином страны», «его величеством». И у доверчивого люда вскружилась голова, каждый возомнил себя князем во князех. Сама жизнь напоминала, кричала: ну какой ты хозяин, какой князь во князех, когда «слугами» своими по рукам и ногам связан и кляп во рту? Князь-обыватель ничего слышать не хотел, ему желалось быть князем во князех и он верил, что таков и есть, и ждал для себя всего хорошего. И вот дождался: вервие сняли, кляп вынули. Полная свобода действий, желаний и нехотений! И вот замахал князь во князех руками, затопал ногами, горло рвет, требует—ему все всё должны,—негодует, истерики закатывает, дубиной и топором грозит новым слугам и служкам... Нет, он, конечно, может и сам все сделать—не в лесу родился: и хулиганами сорванную дверь навесить в своем подъезде, и доску через лужу бросить, и на саженец во дворе, под знойным солнцем изнемогающий, водицы плеснуть... Но тогда, граждане, что ж оно будет!? А то, что слуги на нас, светлых князьях, станут воду возить. Нет! Береги честь, требуй положенного тебе по титулу. Ослушничают—зови к топору и дубине...

Бурову вспомнился слышанный случай. Однажды в сибирский поселок, выросший во глубине тайги еще в сталинские времена, приехал по каким-то делам никому не известный человек—интеллигентный, опрятный, вежливый. Поселили его в бараке: какого-либо другого жилья в поселке не было—только три ряда длинных барачков. Утром следующего дня приезжий, как водится, пошел в дощатый туалет. Жильцы барака в злорадном восторге прильнули к окнам:

Ну-ка, ну-ка! Поди ни разу в жизни в таком-то замешке не сиживал, не поглянется, поди.

Приезжий за гвоздь, служивший вместо ручки, потянул на себя дверь, но войти не решился — не понравилось. Вернул обратно к бараку. Наблюдавшие за ним жильцы возликовали:

— Ага! И куда ж ты теперь, любезный? У нас уборные все такие. Наверно, терпи уж сколь там дней да и вези себе добро в город свой.— Не отлипая от окон, стали, сами не зная чего, ждать.

Ждали совсем недолго. Приезжий снова вышел из барака и направился все к тому же туалету. В одной руке он нес ведро с водой, в другой метелку. Жильцы, догадавшись, что к чему, разочаровались, поскучнели, налились злобой. А приезжий старательно вычистил, вымыл туалет, выставил ведро и метелку на улицу и закрылся...

Этот маленький урок местным князьям во князех молчаливо преподнес уцелевший от дубин и топоров семнадцатого и последующих годов Голицын, потомок древнего и славного рода князей Голицыных.

«К метле! Она принесет нам благополучие, а не злое дубина и топор»— вот в чем суть преподнесенного князем урока.

1994 г.

КОЛЯ ДОЛГОВ

Почти все позабыты, с кем жил давным-давно в Осинниках в шахтерском общежитии. Коля же Долгов, мой ровесник, незабвенен.

Он был из Мундыбаша, поселка обогатителей. Как я уяснил из его рассказов, мать была мягкой и доброй женщиной, но горькой пьяницей и распутницей. Рос Коля

трудно, сам по себе. В свои восемнадцать ростом, видом, образом мыслей походил на двенадцатилетнего подростка—явные признаки инфантилизма. А души был мудрой, нежной и умильной. С нетерпением ждал совершеннолетия, чтоб пойти работать, много получать и хорошо обеспечивать мать. Тогда она станет на путь истинный—ее пьянство и распутство от бедности и горя. Помногу получают шахтеры. Вот он и приехал на шахту.

В личном столе, услышав вопрос «какое образование?»—испугался и расплакался: он никогда в жизни не переступал порога школы. Сердобольные женщины, расспросив его обо всем, записали в карточке «4 класса». И был Коля принят на добычной участок мотористом—самая в шахте последняя, самая легкая, и, понятно, малооплачиваемая должность. Но очень удобная для учебы. Только куда он пойдет учиться, не умея даже расписаться.

И занялись мы с ним азбукой, письмом, грамматикой и арифметикой. Оказался Коля прилежным, сообразительным. И часто смешил и умилял меня.

— Задача такая: у меня тридцать рублей, у тебя на двенадцать больше. Сколько у тебя рублей?

Подумал, подумал и возразил:

— Нет, Володя, пусть у меня тридцать, а у тебя на двенадцать больше.

— Ну, пусть так.

— Ур-р-а-а! У тебя сорок два рубля!

При изучении частей речи:

— Слово «кровать», Коля...

— Имя предметное женского пола...

За три-четыре месяца довольно систематических занятий Коля научился бойко читать, сносно писать и в пределах необходимого оперировать четырьмя арифметическими действиями. Был рад и горд собой. Твердо решил пойти осенью в школу рабочей молодежи. Но—не сбылось. Однажды он поехал на выходные домой. Вернулся расстроенный: мать совсем сошла с круга. Ему надо быть

возле нее. Уволился с работы и уехал в Мундыбаш.

Все это рассказано для того, чтобы тебе, читатель, яснее виделось то великое и святое в душе Коли Долгова, что сделало это имя незабвенным для меня.

Коля с нетерпением ждал первую свою получку. И вот завтра после смены он подойдет к кассе и станет обладателем почти тысячи рублей — бешеные деньги. Коля был взволнованный и непоседливый. Когда все легли в постель и погасили свет, он ворочался с боку на бок и затаенно вздыхал.

— Ты чего это? — спросил я.

Минутное молчание. Потом глубокий, тяжелый вздох, скрип кровати. Встал, подошел ко мне. Шепотом:

— Подвинься.

Укрыл нас обоих с головой, в горячем волнении прильнул к моему уху:

— Куплю большой-большой кулек дорогих конфет, красивого-красивого зайца — я его уже приглядел — и пойду вон в тот, ниже нашего общежития, барак. Там живет девочка, года четыре ей. Бедная. Папы у нее — я выведал — нет. Мама тоже пьяница. Дам ей кулек и зайца. И поглажу по головке. А она удивится, спросит: «А ты — кто?» Я скажу: «Это не главное. Главное расти веселая и красивая». Не хочу, чтоб она или еще кто знал... И ты, Володя, не знай, забудь. Забудь! — повторил строго, требовательно и почти в голос. — Забудешь?..

— Угу. — Больше я ничего не мог произнести — к горлу подступил ком, на глаза навернулись слезы...

Сделал ли Коля так? Не знаю, — он же не хотел, чтобы я знал, просил не знать, — но я отлично знал Колю и потому убежден: сделал!

Воистину добродетелен тот, кто не хлопчет о том, чтобы добрые дела его были обнародованы и имя его славилось.

1994 г.

ЛУЧЕЗАРНЫЙ ЧУДОДЕЙ

Слова Екклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме: «Итак, увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это—доля его». И: «Мудрость делает мудрого сильнее десяти владык». И еще: «Суету и ложь удали от меня».

А также: «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти—дня рождения».

Елисей Петрович Мельниченко. Пережил все войны, все революции нынешнего века, в поте лица своего хлебопашествовал на Украине, потом в Кулундинской степи, рожал и воспитывал детей, искоренялся как «кулацкий класс», преследовался за веру в Бога, строил КМК... Ушел в мир иной в глубокой старости. Мне выпало счастье знать и любить этого святого человека. Широк в кости, могучий матовый череп, широкая, густая, белая-белая борода, лучезарный взгляд совсем юных глаз, мягкая, плавная, веселая речь, неизменно опрятная, вышивная косоворотка, шелковый шнурок-опояска. Он был для людей мерой вещей, образцом нравственной и телесной чистоплотности, духовным отцом, патриархом. А я в пору раннего детства воспринимал его как доброго, ласкового Бога, спустившегося с небес.

Когда Елисей Петрович приезжал из Новокузнецка к нам в Кузедеево, в доме нашем собирались Русецкие, Марухины, Занковы, Разуненко—тоже все кулундинцы, тоже ураганом коллективизации и раскулачивания сорванные с обжитых мест и брошенные сюда, в таежную дичь. Конечно, меж ними бывали разные размолвки, недоразумения, обиды и каждый в таких случаях страдал:

— Погоди, приедет Елисей Петрович...

И вот он приезжал. И все сходились. Но нет, никто ни на кого Елисею Петровичу не жаловался, никого он не корил, не наставлял, не поучал—все разрешало, расставля-

до на свои места и примиряло само его присутствие—удивительно!—И начинался добрый, веселый праздник всеобщего согласия, любви и правды.

Всякий раз Елисей Петрович одаривал меня, как и других ребятшек, каким-нибудь гостинцем—мячиком или свистулькой, или жужжалкой, или заводной машинкой. Спрашивал:

— Ну, какие сегодня получил отметки?

Я отвечал, прямо глядя в его глаза. Елисей Петрович хвалил, доставал из кармана конфетку в веселой обертке:

— Вот тебе за пятерки. Ой, сладкая!—прижмурился и мотал головой. Действительно, все, чем он одаривал, казалось необыкновенным. А бывало, что, услышав вопрос об отметках, я поникал головой—соврать дедушке Елисею Петровичу было невозможно, старшему брату, сестре врал, а ему—не поворачивался язык. Он легонько смеялся:

— Ах ты ж беда какая,—привлекал меня к себе, казался чудесно ласковой ладонью моих волос.—Ничего-о-о. А ты думаешь, я всегда молодцом был в учебе? Ничего. В другой раз опять похвалишься пятерками—и доставал конфетку. И вот тут я порывисто обхватывал его и раздражался светлыми счастливыми рыданиями: дедушка Елисей Петрович, как больше никто на свете, понимает меня, и в душе клялся самому себе, что впредь буду радовать его только пятерками. Он, как-то слыша эти мои клятвы, поглаживал меня по спине и приговаривал:— Вот и добре, вот и хорошо...

У Елисея Петровича была ярко-зеленая, как майская трава, велюровая шляпа. Я спрашивал разрешения надеть ее и бежал на улицу, чтоб похвалиться перед сверстниками, что эта красивая шляпа—самого дедушки Елисея Петровича. Мне завидовали. Я испытывал гордость. И торопился опять в дом, где идут интересные разговоры, где все веселые и любят друг друга, где продолжается праздник, привезенный дедушкой Елисеем Петровичем.

...Настал срок, и Елисей Петрович Мельниченко лежал на смертном одре, увенчанный цветами—величественный и по-прежнему обаятельный. Прощание с ним явилось все тем же праздником согласия, любви и правды. И—праздником благодарения ему за его чудодейства. Скорбь? Елисей Петрович всегда просил скорбеть о живых...

1994 г.

НЕВЕРОЯТНОЕ СОВПАДЕНИЕ

В 1984-м в самую пору трескуче-туманных крещенских морозов в мое родное село Кузедеево приехала телевизионная группа Кемеровского телевидения—а с ней и я—на заказанные Москвой съемки золотой свадьбы всеми почитаемых супругов Протасовых—Анастасии Григорьевны и Ивана Максимовича.

Председатель поссовета Антонина Афанасьевна Степанова — обаятельная женщина, большая умница, человек большого сердца—была рада и самому событию, и нашему приезду, но одновременно с этим испытывала душевную тяжесть: умерла Дуся-дурочка—безродная старуха. Жила она в самой слаженном на берегу Кондомы прибежище—полушалаше, полуземлянке. Жила чем Бог пошлет, терпя дерзости и издевательства как от ребятни, так и от взрослых. И вот умерла Дуся и второй день лежит в морге, а средств, чтоб похоронить ее, у советской власти нету. А народ сердает: как это нету-то?! А вот так—нету.

Толя, Анатолий Ксенофонович Антонов (ныне, замечу, тоже покойный), яркая неординарная личность, тонкая душа, занимал на телецентре высокие инженерные должности, но по причине «этого самого» спускался по служебной лесенке все ниже, ниже. В группе, приехавшей

в Кузедеево, он был осветителем—изящным и виртуозным. Так вот, услышав печаль Антонины Афанасьевны, Толя дернул меня за рукав, показал глазами на дверь. Вышли.

— Володя, пойдем в винный магазин.— Прочитав в моих глазах укоризну, замотал крупной головой:— Не, не, не...

В винном напротив церкви было с дюжину мужиков, столпившихся у прилавка. Одни уже были «под градусом», другие нет. Прежде всего к этим последним и обратился, сняв шапку, трезвый как стеклышко Толя Антонов на окающем ивановском наречии:

— Ребята, люди. Наверно, все уже знаете, что Дуся... Старушка. Безродная. Блаженная. В конце концов, тоже Божий человек... Берите, что надумали, и мы с Володей, вашим земляком, тоже возьмем. Надо: вон какой лютой мороз—затем возьмем лопаты, лом и выроем Дусе могилку. А женщины ее обмоют, обрядят. А какой-нибудь дедушка гробик сладит. А? Люди?..

Это было произнесено просто и проникновенно. А мужики удивленно смотрели ему в глаза: откуда такой шут гороховый взялся?..

А мне в тот момент вдруг вспомнился Иван Алексеевич Бунин. Почему? Зачем?.. У него где-то есть о чем-то подобном. Потом, вернувшись домой, нашел. В «Жизни Арсеньева». В десятой главе первой книги. Нашел и был поражен: какое невероятное совпадение! Ровно сто лет назад, в 1884 году в Ельце в жгучие крещенские морозы замерзла «на паперти» собора нищая дурочка Дуся, полвека шатавшаяся по городу, и город, всегда с величайшей беспощадностью над ней издевавшийся, вдруг закатил ей чуть не царские похороны». И кузедеевская Дуся сподобилась через полторы недели быть погребенной—усовестившись, сбросились по каким-то рублям руководители поселковых организаций. Есть разница? Да никакой!

И в том, и в другом случае глумление уже не над лично-стью, а над памятью о личности.

Вот пришла мне, вроде не суеверному, суеверная мысль: а может, это не две Дуси, а одна, явленная Богом на земле дважды с интервалом в сто лет, дабы испытать, сколь прибавилось милосердия на Руси, самонареченной из гордыни Святой?

Как бы там ни было, но Господь от нас не в восторге.

1994 г.

ПО СОСЕДСТВУ

Жизнь заворачивает все круче. С сегодняшнего дня Юлия Черкасова в неоплачиваемом отпуске—не поступают на завод комплектующие. От бывшего мужа вот уже восемь месяцев ни алиментов, ни каких-нибудь вестей—поди, совсем с пути сбился. Помешивая ложкой сваренный суп, Юлия горько вздохнула.

Щелкнул замок входной двери. Это пришла с хлебом Настя, тринадцатилетняя дочь.

— Мам...

— Живо мой руки и будем обедать.

— Мам, а Даниловы сегодня еще не ели.

Юлия резко обернулась к Насте, взорвалась:

— Да Боже мой! И когда только это кончится! Вот навязались-то на мою голову! Я им что, мать? Тетка родная?! А ты их нянька?..

Десятилетняя Марина и шестилетний Андрейка Даниловы живут на одной лестничной площадке с Черкасовыми. Отец и мать беспробудные пьянчуги. Была у них хорошая трехкомнатная квартира, которую поменяли на двухкомнатную с доплатой и переехали сюда. Доплату в неделю прогуляли. Теперь шаромыжничают и подыскива-

ют обмен на однокомнатную. Дети растут, как придорожная трава,— голодные, раздетые, неухоженные. У Юлии при виде их болит от жалости сердце. Несет им поесть то того, то другого, всю одежду, из которой Настя выросла, отдала, одеяльце, игрушки... Пробовала не раз говорить с Николаем и Галиной Даниловыми и по-хорошему, и со страданием, но — как об стенку горох, будто не их это дети. Вот сегодня: второй час, сами, поди, уже наглотались и лыко не вяжут, а дети еще не евши.

— Я их обязана кормить-поить? У меня добра некуда девать?.. Скоро сама пойду христарадничать, потому что с сегодняшнего утра—скрытая безработная...

— Ну, мам,— всхлипнула Настя, утирая кулачками глаза.

— И нечего реветь! Пусть отец-мать об них думают. А то надеются: соседка накормит. Хватит!— Умолкнув, Юлия нарезала хлеба, поставила на стол тарелки себе и дочери, кастрюлю с супом. Подняла крышку, взяла половник.

— У нас, мам, каша осталась. Я отнесу им, а, мам?..

— Какую кашу? Она вчерашняя.— Юлия прикрыла кастрюлю, всхлипнула, как только что Настя:— Паразиты! Производят детей на маяту... Ну, чего, дочь, стоишь-то. Помогай. Бери вот хлеб, бутылку молока в холодильнике возьми. А я кастрюлю. Пусть горяченького, с мяском супчика похлебают. А мы себе кашу подогреем. Пошли...

Два месяца спустя.

— Мам, Даниловы уезжают. Вон машина уже пришла.

— Ну и уноси их Господь на кривом колесе! Надоели хуже горькой редьки!— отозвалась Юлия.— Чтоб вас черти с квасом съели, таких родителей. Повезли детей в гостинку. А потом? В конуру собачью? Алкоголики!— взглянула на часы. Задумалась. Денег осталось пять тысяч с какой-то там мелочью. Это на все про все. А когда будет получка—никто не ведает. «А!»—мысленно махнула рукой,— привезем от мамы картошки, капусты, огурцов... Не пропадем!» Живо собралась, побежала в магазин.

Вернулась, когда Маринка с Андрейкой уже сидели в кузове на связках барахла. Плача подала им пакет с конфетами, пряниками, яблоками. Поднялась на цыпочки, обняла, расцеловала ту и другого.

— Прибегайте когда—большие уже. Настя, дочь, зови...

Настя кивала, дескать, зову, зову, и утирала кулачками мокрые глаза.

1994 г.

СТРАШНО

Во дворе пятиэтажки, у второго подъезда, милицмейская машина—обворовали квартиру. В окружении жильцов и прохожих молоденький, тонколицый лейтенант. Женщина лет пятидесяти, тучная, густоголосая, назвавшаяся Бояркиной, напористо убеждает лейтенанта:

— Да он это, он. Его рук дело. В нашем, вон в первом, подъезде не вышло—он во второй. Ему какая разница, кого грабить.— И рассказывает уже в третий раз:— Говорю, около одиннадцати часов утра спускаюсь с мусорным ведром со своего пятого этажа, а он, басурманище, дверь Карасевых—прямо, говорю, под нами живут—обглядывает да обшаривает своими лапами—смекает, как ловчее ломать. А дверь-то у Анатолия новая—недели три как поставили—железная, изукрашенная—богатая дверь. Значит, и хозяева богатые, рассудил ворюга. Увидел меня и хоть бы тебе бровью повел. Повернулся и вразвалочку вниз по ступенькам. Во, какие они сегодня, сволочи: ниче-гошеньки не боятся, чтоб их родимец хватил. Так вот, значит, он из нашего подъезда—прямоком в следующий. И поживился.

— Говорите, в голубой куртке был?—спрашивает лейтенант.

— В голубой,— кивает Бояркина.— На кнопки застегивается.

— А вы говорите в сером свитере?—оборачивается лейтенант к суховатой старухе Паниной, которая, говорит, своими глазами видела, как около полудня из второго подъезда вышел незнакомый парень с двумя большими сумками, набитыми разным добром. Она, Панина, и тревогу подняла.

— Ага, в серой. В свитере.

— Да что он, дурак, что ли?—пылко возражает Бояркина старухе Паниной.— Куртку снял да в сумку запытал—вот тебе уже и в свитере.

Панина пропускает это возражение мимо ушей. Продолжает:

— И в плечах широкий такой. А росту невысокого, говорю. Ты ж сказываешь,— смотрит на Бояркину,— с коломенскую версту.

Бояркина опять ревностно возражает:

— Так сумки-то книзу тянут—осадили.— И лейтенанту:— Да он это был, он! Даже не сомневайтесь.

Старуха невозмутимо продолжает:

— Еще ты сказывала, мол, чернявый. А у этого волосы были рыжие.

Бояркина нервничает, подается грудью на Панину:

— Тетя Груня! Тебе уж сколько годов?.. В полуха слышишь, в полглаза видишь—туда же: рыжий... Говорю, он это был!..— Вдруг Бояркина в страхе вытягивается, глаза ее округляются, нижняя челюсть отвисает. Дернув украдкой лейтенанта за рукав, шепчет:— Да вот же он,— указывает глазами на высокого, черноволосого парня в голубой куртке на кнопках, который вышел из подкатившего к первому подъезду такси.— Он самый. Бать-тюшки-и-и,— прикрывает ладошкой рот.

— Гражданин!—кликает лейтенант парня.— На минуточку можно вас?

— Пожалуйста.

— Лейтенант Воронин. Разрешите ваши документы.

— Пожалуйста.

Выяснилось: Сергей Александрович Карасев. Приехал из Омска в гости к брату Анатолию Карасеву. Брата дома не оказалось. Осмотрел, ощупал его новую красивую дверь—такую же надо себе поставить, поехал к Анатолию на работу, взял ключ и вот вернулся...

Бояркина была обескуражена. Это понятно. Но она была еще и раздосадована, что рассыпалась в прах ее версия—такая правдоподобная, стройная, логичная. Где-то глубоко в душе, в потаенном ее уголке был протест, бунт: ну зачем он брат Анатолия Карасева. Его б сейчас скрутили, засадили, хоть он и не рыжий. Зато одной сволочью, которыми кишит жизнь, было б меньше...

А знаете, я эту Бояркину отлично понимаю. Так понимаю, что мне становится страшно...

1994 г.

НЕ БАРАН НАЧИХАЛ

Шагаю по улице. Гляжу, навстречу мне шагает приятель Вася, носящий очень, по его уверению, симпатичную фамилию—Толстогубов. Познакомились мы с ним, чтоб не соврать, лет... В общем, вскоре после того, как в Кемерове ввели абонементную плату за проезд в автобусах. При довольно необычных обстоятельствах. Ехали по двадцатому маршруту молодые муж с женой. Жена вышла на Фабричной—надо было,—а муж поехал дальше, домой. Вдруг заходит контролер: «Граждане, предъявите абонементы!» Молодой муж вытаращился на меня—рядом стояли:

— Елки-моталки! А мой-то абонемент у жены в сумочке! Правду сказать, так ведь не поверит.

— Точно,— согласился я.— И оштрафует.

А контролер все ближе.

— Вот это я врюхался!—волнуется, мечется мой сосед.

А я ему для пущего устрашения:

— Оштрафует да еще и на работу сообщит...

— Нестандартная ситуация...

— ... премии лишат, отпуск на зиму перенесут.

А контролер уже вот он.

— Ваш абонемент.— Это ко мне.

— Пожалуйста, два—мой и моего друга Гоши,— я приобнял за плечи молодого мужа.

Дело в том, что я тоже ехал с женой. И тоже жена вышла—надо было—раньше, но абонементы остались у меня.

Благодарный «Гоша» тут же полез ко мне целоваться и чуть все не погубил, вызвав подозрение контролера, что ее (это была она) обдурили, но сам же и исправил положение:

— Извините, но у моего друга Кеши сегодня день ангела,— и лобызнул меня еще раз.

Вот так мы с Васей Толстогубовым и познакомились. И стали приятельствовать—перезваниваться, иногда встречаться. Вася человек думающий, неунывающий, веселый и открытый—именно таких я больше всего и уважаю.

Жизнь круто переменилась и, к сожалению, встречаться мы стали реже, даже совсем редко. Помнится, последний раз виделись по осени. А сейчас уже всю буйствует весна.

— Вася!

— О, Володя!

Конечно, потискали друг друга.

— Ну, рассказывай, как дела,— это он мне.

— А!—махнул я рукой.— У тебя-то как?

— Представь себе, прекрасно!

— Даже?

— Если, конечно, не считать, что цены скачут. А так—отлично!

— Заработками доволен? (Вася токарем на заводе).

— Уже три месяца не расписывался в ведомости. Но тещь с тещей подкармливают. Так что все замечательно.

— Куда сейчас путь держишь?

— В хозмаг. Замок купить. Нас же вчера обворовали.

— Да ты что?! Много утащили?

— Сразу-то не обнаружишь всех пропаж. Но много чего оставили и, значит, жить вполне можно.

— А что это у тебя за шрам на подбородке? Раньше я его не замечал.

— Да пустяк. Возле пивного ларька подсказал одному, который лез без очереди, что крайний—я. Вот и получил как крайний. Володя, могу еще тебе сказать, что дачу у меня разорили, погреб обчистили и тэ дэ и тэ пэ. И, знаю, ты мне о том же самом...

— Да почти один к одному.

— Но это же, Володя, все скучная проза. А жизнь-то прекрасна и удивительна. Ты только посмотри, под чем мы стоим. Подыми голову.

— Под вывеской магазина «КЕМХЭЙ», Вася.

— Да ну его, этот «КЕМХЭЙ». Выше смотри.

— Выше—балкон.

— В самую, самую высь смотри.

— Мы стоим, Вася, под небом.

— Под голубым, бездонным, вечным. Под ласковым солнышком стоим. Вон воробьи, прохвосты, чирикают, в лужах купаются. А где-то, слышишь, скворец тянет: «Тю-ти-ву-уу...» Весна, Володя. А потом будет лето красное. Потом «очей очарованье»—осень. Потом белая матушка-зима. А там опять весна... Всё это, скажу я тебе, не баран начихал. Это вечные прелести, которые у нас, пока живы, никто не отнимет. Только вот мы все голову вниз... Ну, давай покурим, что ли?

1994 г.

ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО

днажды летом, сокращая путь, шел дворами по меж раскидистыми карагачами. Вдруг остановился **женный**: от основания дерева по всей его окружности строгой равномерностью отходят темно-бурые корнисусы; мягко утончаясь, они метра полтора простираются поверх плотной голой почвы и теряются в густой **являвшейся** траве; от корней-радиусов, ритмически чередуясь, отходят придатки и связываются с соседними радиусами, образуя по всему кругу четкий геометрический элемент. В первый момент я принял его за декоративное **литье**, каким, бывает, окольцовывают деревья в парках и в скверах, а, оказывается, это художничает сама природа.

Откуда-то взялся шустренький рыжий песик с ошейником. Вполне миролюбиво твякнул на меня и тоже устался, будто что осмыслил, на корневое кружево. С поводком, сложенным вдвое, подошла хозяйка песика—явно пенсионного возраста женщина с открытым, добрым и спокойным лицом.

— Кто ни идет — все останавливаются. Этой весной талая вода вымыла, как нарисовала.

Песик опять твякнул. Теперь на хозяйку — как-то вопрошающе. Женщина ему с мягким укором:

— Ты ж, Коля, утром туда бегал. Да шибко загулялся... Ну, ладно, ступай. Но чтоб через десять минут здесь был. А то... — погрозила поводком.

Песик крутанулся и весело и резво помчался в проем между домами.

— Это он в наш старый двор — недалеко тут — побегал: все друзья его — там.

Женщина оказалась словоохотливой. Рассказала: жили они с мужем и Колей в двухкомнатной, улучшенной планировки квартире. А семья мужниной племянницы —

четыре человека—ютилась в однокомнатной хрущевке. Какая ж это справедливость. Уступили им свою квартиру. А пожилым хватит и этой—вон крайний балкон на третьем этаже.

— А ваши дети? Устроены?

— Наши? — женщина сконфуженно улыбнулась. — Один Коля у нас. Других не было—не дал Бог.

От того, что невзначай задел такую деликатную тему, я тоже смутился. Женщина заметила это, ободрила:

— Житейское дело.— И в грустной раздумчивости, глядя куда-то в сторону:— У каких только врачей муж не был. Каких бабок, знахарок не обошел, не объехал. Всё без пользы. Мечтали: родится мальчик—назовем Колей. А если девочка, то—Надей... Ой, сколько ж раз во сне видела, как нянчу, ласкаю детей своих...— Помолчала. Строго и оценивающе посмотрела на меня и опять заговорила:— Муж мой поваром был. А я всю жизнь на «Карболите» проработала. Подруги переживали за мое бездетство. Одна—не стану говорить, как звали—один раз издали завела разговор, дескать, паш бабий век известно какой, надо все успевать в свое время. Есть, говорит, у меня на примете мужчина—видный из себя и положительный. Я тебе все устрою, встреться с ним. Нельзя без ребенка в старость входить... Вот так прямо и сказала подруженька мне. За жизнь всякого глаза насмотрятся, всякого уши наслушаются, но таких слов!.. Это что ж, говорю, при живом родном муже идти к чужому? Хотя б и ради ребенка. Да с какими ж тогда глазами я порог своего дома переступлю? А она: да кроме тебя-то, кто то знать будет... Так то и самое тяжкое, что сама буду знать.— Женщина смущенно взглянула мне в лицо.— Вот такую судьбу Бог послал...

Прибежал Коля, лизнул хозяйкину руку. Женщина склонилась над ним, потрепала по шее, похвалила:

— Молодец, молодец — исполнил мой наказ.

Коля изловчился, лизнул хозяйку в щеку. Женщина
шепталась:

— Ну чисто дитя.

Еще постояли, поразглядывали узор, сотворенный при-
родой, да и распрощались.

1994 г.

РЕВНИТЕЛЬ МОРАЛИ ЕРШ

Вожидании электрички читал на перронной лавке
книжку. Подходит невысокий щупловатый, неопределенно-
небритый, немывтый, нечесаный—возраста. Достает
книжку «Веги», садится рядом.

— Давай, земляк, закурим и—что-то расскажу. Время
есть. Закурили. Протянул бурую шершавую руку:
— Кликуха такая. А в прошлой жизни был Ер-
ш. Было нас трое: Колесо, Фофан, ну
еще один. Были по деревням. Бугрил Колесо—
башничающий. Два года мы...—прыснул, буд-
то мотнул головой—халтурили-и-и!
— А Фофан... заказчиков накальвали, липу
на язык, словом, все как положено. Послед-
ний... назад—подрядились в совхозе
...жить на берегу речки коробку во-
... так себе—вшивенький. За восемь дней
... Сдали путево. Только, сказали нам, прима-
... надо.

На девятый утречком навели кое-какой марафет, сели
под кусточком покурить да время—как сейчас мы с то-
бой—убить: деньги, сказали нам, в двенадцать будут. По-
дошла пора—поднялись. Колесо с Фофаном прямо на кон-
тору курс взяли, а я в объект за курткой—вот этой са-

мой—завернул. Вхожу и—ё-моё! Стена, как раз та—другая-то хрен бы с ней,— на которую окна совхозной конторы таращатся, пузищем внутрь выпятилась и вот-вот рухнет. А до конторы самое большое метров двести. А если увидят, услышат, как она... А бабки не получены. Ору:

«Колесо! Фофан! Сюда!»

А сам спиной к пузу привалился, руки раскинул, каблуками в пол уперся—давлю. Прибегают бригадники. Увидели, присвистнули.

«Ёрш!—заметал икру Колесо.— Ты держи, а мы рванем. Я бабки получаю, Фофан в общаге шмутье наше хватает, снова сюда и смываемся—прямо через речку и на трассу».

«Идет,— говорю,— только вы живей— я ж с бодуна».

И вот тужусь, держу стену. Проходит пятнадцать, двадцать минут, полчаса. Уже можно было пять раз туда и обратно гусиным шагом сходить, а бригадников все нет. Начинаю соображать: бабки на карман и смотались. А ты, Ёрш, как знаешь. Бросить стенку и бежать вдогонку? А если, думаю, там, в конторе, какая задержка вышла или еще что? А стена рухнет. И накроются наши бабки, потом соленым политые. Держу дальше. Руки, ноги уже занемели, а Колеса с Фофаном нет как нет. Дальше так нельзя. Надо что-то делать... Вот что б ты придумал на моем месте?

Я пожал плечами.

— Во-о. Потому что не твои бабки. Так вот. Нужда заставит— и бык соловьем запоет. Напрягся из последних сил— аж глаза на лоб, аж жилы сейчас лопнут, аж пот из всех пор,— давлю. Пузо подалось и пошло, пошло... Чувствую, хватит, иначе на ту сторону выпрет. Отвалился, глянул— точнее, чем по отвесу.— Ёрш подмигнул мне, усмехнувшись:— Не зря же я три семестра на физмате проучился. Тихонечко взял куртку, на цыпочках, даже не дыша, вышел из объекта и припустил к конторе... Как и предполагал, Колесо с Фофаном смотались. Но мою долю

оставили у кассирши. Сказали: он со шмарой пошел прощаться, а нам некогда. Конечно, спасибо, мужики, но не это самое главное. Как, по-твоему, должна быть хоть какая-нибудь мораль среди товарищей—пусть они и распоследние шабашники-халтурщики?

— Наверное.

— И я так же думаю. А как еще можно думать-то... Стена, конечно, крикнула, сам видел. Но деньжата были уже у меня на кармане. А чего ей было не крикнуть-то? Мы ж цемент, как всегда, ополовинили и одному мужику за литруху загнали. Так что должна была крикнуть стеночка. Ну и хрен с ней. Дело-то совсем в другом. Я сдержал свое слово? Сдержал. Они — нет, оставили бригадника на произвол судьбы... Вот уже две недели ищу их, чтобы втолковать: так делать, ребятушки, нельзя... Я, по-твоему, как поддатый сейчас?

— Вроде нет.

— Ни даже полста грамм за эти дни не принял. Нельзя, не имею права. Вот найду их... Найду-у. Уже на след попал. Четыре остановки отсюда, в Гавриловке зацепились. Так что, может, уже сегодня буду воспитательную работу проводить.— Ерш взволновался. Посмотрел на мои часы.— О, две минуты до электрички. Тебе в какую сторону?.. Тогда мы не попутчики. Извини, душа требовала, вот подсел, рассказал. Ну, бывай,— поднялся, закурил, стал нервно ходить взад-вперед по перрону. Заслышав шум электрички, быстрым шагом пошел ей навстречу. И вошел в первый вагон...

1994 г.

ПО ЖЕРДОЧКЕ

В конце семидесятых в городе Осинники лектор общества «Знание» читал лекцию на антирелигиозную тему. Сетовал: дескать, не перевелись еще у нас темные, несознательные личности, то есть боговерцы, которые одурманивают вполне сознательных, но слабых характерных граждан. И, оторвавшись от бумажки, доверительно рассказал: на шахте «Капитальной» работает электрослесарем В-ер, сектант-иеговист. Ненавязчиво, обаятельно ведет с рабочими беседы о Боге, о бессмертии души, о рае и аде, и находятся отдельные индивидуумы—кдюют на его удочку. Всю картину атеистической работы парткома сводит на нет этот В-ер.

— Уволить его по какой-нибудь статье, и путь ему ко-согором!—выкрикнул из зала какой-то ярый безбожник.— Пущай за ради Христа своего кормится.

— Давно, товарищи, уволили бы. Но—нельзя: работает В-ер отлично, не прогуливает, не ворует, не пьянствует, отличный семьянин—словом, идеальный гражданин,—вздыхнул апостол безбожия.— Вот в чем беда-то.

Лектор не понимал—по сану не позволялось ему понимать,—что «беда» происходила оттого, что сектант В-ер жил и других призывал жить строго в согласии с Божьими заповедями. А будь он безбожником, то—бабушка-то надвое гадала—может, никакой бы «беды» и не было, а была бы просто беда с электрослесарем В-ром.— Так рассуждаю я, кстати, безбожник...

Сегодня вера в Бога не только не преследуется, но напротив—поощряется. Сегодня Бог—в большой моде.

В пору прошлогоднего листопада на закате золотого дня иду вдоль дома по дворовой стороне. Слева череда подъездов. Справа—молодые березки, меж которых там, впереди, играют мальчик и девочка лет по шести-семи. Вдруг в шагах двух от меня выворачивается из березок

молодой верзила в зеленой рубашке. Качающийся, помятый. Крупное лицо. Потное, горячее. И—радостное. Оттого, что увидел меня, хотя мы совершенно незнакомы. Запустил ручищу за пазуху, извлек какую-то—не разобрать, какую: потерялась в ручище—штуковину. К ручище присоединилась вторая и что-то в них клацнуло зловеще. Подумалось: «Пистолет...» И точно: высунулось вороненое дуло. Слова верзилы самому себе сквозь торжествующий смешок:

—..в бога мать, я никого не боюсь...

Дуло нацелилось в мой висок—я как раз поравнялся с верзилой. Я ничуть не ускорил и не замедлил шага, шел как шел, чувствуя, что дуло теперь нацелено в затылок. Что ощущал?.. Асфальт под ногами был не асфальтом, а тоненькой, слабенькой жердочкой, перекинутой через глубокую пропасть. Сейчас... вот сейчас зловеще треснет жердочка—и...

Ощущая это, смотрел на мальчика и девочку. Когда клацнуло, они оставили игру и воззрились на пьяного дяденьку. И вот по выражению их лиц я пытался определить: что он там, сзади, этот верзила? На лицах детей застыло то выражение, когда люди смотрят на что-то и не верят своим глазам. Рты мальчика и девочки были чуть приоткрыты, как бы приготовленные к вскрику...

Чу, откуда-то сверху, наверное, с балкона—тоже позади меня—голос. Пожилой женщины:

— Гоша. Гошенька, сынок, иди, мой хороший, домой... иди, что-то скажу...

Не видимая мной, женщина представилась мне тоже очень, очень осторожно ступившей на тоненькую, ненадежную жердочку, перекинутую через пропасть...

Вот и дети остались позади...

Ступаю по жердочке: обломится не обломится... А в глазах как остановленный кинокадр: верзила, доставая из-за пазухи какую-то, еще непонятную мне штуковину, нечаянно поддел на мизинец золотую цепочку, висящую на

его шее. На цепочке — золотое же — распятие Христа. Верзила застыл на какую-то секунду, досадливо глядя на модную помеху и решая, как сбросить ее с мизинца. Изловчился, сбросил, как окуву, изображение того, кто первым провозгласил: «не убий», «люби ближнего, как самого себя», сбросил и нацелил смертоносное дуло в проходящего — совсем неведомого, — пустил его по хрупкой жердочке через глубоченную пропасть.

Сегодня все мы ступаем по этой жердочке — и атеисты, и благочестивые верующие. Вот — беда-то...

1994 г.

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Километрах в пяти от Кемерово в чистом поле строилось производственное здание. Александр Трифонов работал на этой стройке стропальщиком.

— Майна, майна! — подавал Александр команды крановщику. — Чуть вира... еще... Стоп!..

А где-то в городе в какой-то квартире жил-поживал в клетке зеленый попугайчик Кеша. Жил Кеша в своей клетке на всем готовеньком. Но — в клетке. Но — на всем готовеньком. Наклюется разной вкуснятины, напьется и качается себе на качельке. Или дремлет. Или трещит без умолку. А то вдруг загрустит, потому что, хоть и на всем готовеньком, — но в клетке же. А ему хотелось на простор, на волю, которой была в его представлении комната и на которую он взирал сквозь металлические прутьики. Когда хозяин Кеша — мальчик — открыл дверцу клетки, чтобы поставить тарелочки со свежим кормом и питьем, Кеша норовил выпорхнуть на волю. Хозяин строжился: «А ну-ка, демон! Я вот тебе!..» Однажды хозяин, опаздывая в школу, наскоро сменил Кешины тарелочки и, забыв про дверцу,

убежал. Кеша обрадовался, мигом из клетки — и оказался на воле. Запорхал, запорхал и затрещал весело. Порхал и трещал, пока не уморился. Присел немного передохнуть на переплете распахнутой оконной форточки. Присел — и перед его взором открылся такой безграничный, такой невиданно белый простор, что у попугайчика захватило дух и вскружилась голова — ему стало невтерпех ддохнуться в эту безграничность и ощутить себя безгранично свободным. И он, оттолкнувшись от переплета, плюхнулся. Не успел Кеша выбросить крыльев, как его подхватил февральский вьюжный ветер. Закрутил, завертел, заподбрасывал и понес неведомо куда. Кеша пытался противостоять стихии. Но слишком малы были его силы и, самое главное, не было никакого умения противостоять. Его ж никто этому не учил: Кешины родители и прародители тоже ведь рождались, жили и умирали в клетке. Отчаявшись, попугайчик отдался на волю ветра...

Стропальщик Александр Трифонов отдавал крановщику команды:

— Майна!.. Чуть вира... — и вдруг почувствовал какое-то легонькое прикосновение к плечу. Повернул голову — в телогреюку вцепился коготками зеленый, как весенняя травка, попугайчик. Изумился: «В чистом поле! Откуда? Как?..» А Кеша смотрит ему в глаза так, будто хочет сказать: «Пр-р-р-опадаю, спасай!..» Снял его Александр с плеча, сунул за пазуху. И Кеша-путешественник затаился там.

Трифоновы поместили Кешу в клетку. И вот опять он живет на всем готовеньком. Но — в клетке.

Нет, — возразил бы пылко попугайчик Кеша, умею говорить. — Никаких «но». И на всем готовеньком, и — в клетке! — вот как надо говорить. Теперь-то я знаю, что такое воля. Воля — это клетка. И никому никакими каламами меня из нее уже не выманить. Наклевался, напился и трещи себе.

Трещит Кеша бойко и весело. Иногда же яростно-сер-

дито. Дело в том, что нынешняя его клетка висит наискось от телевизора. Бывает, на экране появляются пожилые, нервные и галдливые люди с красными флагами. Что там они галдят, попугайчик не понимает. Но по каким-то признакам поведения этих людей догадывается, что они сейчас испытывают те же чувства, какие испытывал он, Кеша, когда оказался один на один с вьюжной стихией — наверняка эти люди волею судьбы тоже оказались вне клетки и тоже хлебают лихо. Доброму Кеше жалко их и он, пользуясь всеми благами настоящей, клеточной свободы, проявляет солидарность с ними — трещит яростно и сердито.

Смысл Кешиного трещания в сторону телеэкрана Александр Трифонов переводит так:

— Отдайте людям свободу! Верните их в клетки! Позор-р-р откр-р-р-ывателям клеток!..

Вот такое истинное происшествие, рассказанное здесь с необходимой долей домысла.

1994 г.

НОВАЯ ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ СТАРОЙ СКАЗКИ

Жили-были муж да жена. Ровно тридцать лет и три года назад, когда они начали свое супружество, была у них изба-развалюха да разбитое корыто. А нынче их дом — не дом, а полная чаша. Только птичьего молока нет.

— Как только где появится, сразу у нас с тобой будет, — утешал муж жену, докучавшую ему этим молоком.

А еще докучала жена мужу тем, что-де люди плохо о них говорят — ее называют не иначе как «баба глаз да ухо», а его, мужа то есть, «князь из грязи» да «жуль-

ман»—бесчестными и бессовестными почитаются они у людей.

— А я хочу быть честной и совестной,— говорила жена требовательно.

— А, думаешь, я не хочу?—возражал муж.— Но как, как это устроить? Ведь на всякий роток не накинешь платок. Плюнь да и живи себе в полном довольстве. Я ж живу.

— А еще народ тебя дурачиной называет. И правильно—сущего пустяка сообразить не можешь.— Жена топала ногой:—Хочу быть честной и совестной!

— Подскажи как — сделаю хоть сегодня.

Но что могла подсказать жена? Она—женщина и полагалась на мужа.

* * *

Подсказка пришла мужу во сне.

Однажды не понять чей голос шепнул ему:

— А ты пойди к синю морю, покличь золотую рыбку и попроси у нее то, чего жена требует...

— Вот это эврика!—обрадовался муж.—Чего она мне самому-то не ударила в голову.

Не мешкая, собрался муж и говорит жене:

— Пошел к синю морю просить у золотой рыбки чести-совести нам с тобой,— и в дверь было. Но жена ухватила его за рукав.

— Дурачина ты, простофиля. Кто ж тебе что без посула нынче сделает-то. Возьми-ка хоть вот это жемчужное ожерельице, сунешь рыбке. Не пустяк же просить идешь, а вон чего—чести-совести.

— Дак я наметил «деревянных» сунуть ей.

— Ну, истинный ты дурачина и простофиля! Деревянные-то нам и самим сгодятся.— А жемчуга эти,— подмигнула,— поддельные.

Муж хихикнул:

— А ведь и правда ты баба глаз да ухо,— принял ожерельице и тронулся в путь-дорогу.

И вот пришел он к синю морю. Покликал золотую рыбку. И рыбка приплыла:

— Что тебе, человеце, надобно?

— Уж не прогневайся, сударыня рыбка, что потревожил. Но нет мне никакого житья от жены. Всем мы богаты, всем довольны, а вот не нравится жене моей, что в народе мы слышем бесчестными да бессовестными. Смилуйся, сударыня рыбка, сделай ты нас Бога ради честными-совестными.

— Честными-совестными?— задумалась рыбка.— Дело это не из легких, человеце.

— Трудное дело, трудное!— подхватил муж. Но мы просим не за так,— льстиво улыбнулся, протянул рыбке ожерельице.— Прими-ка, милая сударыня, самого чистого жемчуга.

Рыбка даже не взглянула на посул. Вздохнула, с грустью сказала:

— Благодарствую, человеце. Я за так сделаю то, чего вы просите. Ступай к своей жене.— И золотая рыбка, вильнув хвостиком, ушла в пучину потемневшего вдруг моря.

Пришел муж домой и глазам своим не верит: не дом полная чаша перед ним, а изба-развалюха, в которой они начинали с женой супружествовать. Возле развалюхи то самое разбитое корыто. Перед ним жена сидит. В сторонке костерок, на таганке похлебка варится. Увидала жена в руке мужа ожерельице поддельное, сказала:

— Брось его в огонь. С этого и начнем свою новую жизнь—честную-совестную.

— Да, жена, хватит срамиться перед добрыми людьми,— шагнул муж к костерку и...

И тут зазвенел будильник, возвещая мужу и жене, что пора вставать да собираться на самолет, который перенесет их к синему Средиземному морю.

— Фуф!—пробудился муж в великой тревоге. Толкнул жену:—Слышь, что мне приснилось-то.

— А?!—переполошилась жена.

Муж рассказал сон. Заключил:

— Не к добру это. Нельзя нам лететь.

— Дурачинушка ты мой, простофилюшка,—ласково потрепала жена мужа по шее.—Сон-то что надо. Всякая рыба — к прибытку. А тут еще и золотая.—Поднялась с постели, нахмурилась, подбоченилась.

— Значит, как вернемся из круиза — месяц тебе сроку и чтоб были мы честными-совестными!—с силой ударила тяжелой ногой об пол.

1995 г.

РОКОВОЙ ИСХОД

Возвращался вечером с работы. Навстречу женщина из соседнего дома—имени ее не знаю:

— Слыхали?

— Что?

— Баба Клава умерла.

— Как умерла?! Я ж ее утром на лавочке видел.

— А в час дня ее не стало. Так-то вот...

Баба Клава из того же дома, что и эта женщина. Редкостного характера человек. Признана и прозвана «душой дворового общества». Всякого обо всем повыспросит, всякого утешит, дельный совет даст, поучительную житейскую историю расскажет. А кого надо—приструнит, строго

вычитает и другую житейскую историю расскажет. Ребяшня постоянно возле нее вьется, меж собой, бывает, скандалы учиняют—каждый хочет один любить бабу Клаву, чтобы она только его была. Баба Клава смеется, урезонирует: «Всехняя я, меня на всех вас хватит, еще и другим останется». Кому нос утрет, кому колготки подтянет, кому шапчонку поправит, еще кого как обиходит и начинает всем рассказывать «Сказку про Машу, Мишу и салазки». Девочка Маша была умная, добрая и хотела, чтоб все делалось по справедливости. А мальчик Миша был ленивый и большой хитрун. Скатятся они с горки вместе, а завозить салазки на горку должна одна Маша—так выходило по Мишиному. Маша же считала, что каждый должен завозить салазки через раз. И всегда по ее получалось. Миша же все хотел обхитрить ее. Однако Маша против всякой его хитрости резоны находила... Сказка эта из разряда тех, у которых нет конца и которую можно оборвать на любом месте. Получается, теперь сказка оборвалась навсегда.

— Как померла-то? От сердца? В последнее время она жаловалась.

— От пьянства.

— Нет, я серьезно.

— Так и я куда уж серьезнее-то. Пошла баба Клава в универсам молока купить. Меж входных дверей, в тамбуре-то этом, покачнулась, завалилась на бок и упала ничком. А у народа сегодня какая первая мысль в таком случае? Пьяная бабка. Сколько вон их всяких где попало валяется—привыкли. Ну и идут все мимо бабы Клавы. А иной еще и ругнется, дескать, нашла место. Один молодой мужчина, врач, наверное, склонился над ней, пульс пощупал и опрометью побежал «скорую» вызывать. Прикатила. Да без пользы—скончалась баба Клава. Ишемия, сказали. А умерла—от пьянства нашего беспробудного.

1995 г.

ОРИГИНАЛ!

Он инспектор городской ГАИ. Коротконогий. Переваливающийся через ремень животик. На щеках играет румянец цвета утренней зари. Широкий вздернутый нос. Редкие белесые волосы. Белесые ресницы. Серые юркие глаза. Говорлив. Не лишен чувства юмора, способен на разные выдумки.

Долго искал, нашел и купил коврик размерами шестьдесят на шестьдесят сантиметров с орнаментом мягких, ласковых тонов. Созвал в свой дом самых лучших, самых верных друзей.

И вот начало торжества, повода которого еще не знал никто, кроме хозяина. Инспектор взял в правую руку фужер с испускающим пузырьки шампанским, поднялся.

— Дорогие мои и желанные! Я всегда благодарю своих родителей, которые мне дали жизнь. Я всегда благодарю Родину, которая дала мне образование. Я всегда благодарю вас, драгоценных друзей, вы придаете мне уверенности... А сегодня, дорогие мои, я хочу от чистой души поблагодарить свою волшебную палочку, которая уже ровно десять лет служит мне верой и правдой.— Инспектор свободной рукой дотянулся до белого шелкового полога на стене и сдернул его. И друзья увидели: на коврике шестьдесят на шестьдесят прикреплен черно-белый инспекторский жезл.— Дорогая моя волшебница! Все, что есть хорошего в этом доме, а также и за его пределами,— инспектор игриво подмигнул друзьям,— все это по твоему мановению. За десятилетие нашей с тобой, уверен, нерасторжимой дружбы пью я и мои, а значит, и твои друзья!..

Друзья пили и закусывали. И не переставали восхищаться инспектором:

— Ну ты оригина-а-л!..

1995 г.

ТЕЗКИ

Древний, белый высохший старик Михайло, переживший всех своих детей, приютился у внучки Галины. Не сказать, что она в нем прямо души не чаает, однако и не забирает, зазря не корит. Отвела ему запечье—самое стариковское место. Постель мягкая, опрятная. В еде откату нет, да ему и надо-то еды—что котенку. Пенсию, всю до копейки, старик Михайло отдает внучке—на что она ему. На всем-то готовом. А Галине какая-никакая, а—подмога. У нее двое детей, мужа нет. Подмога ей еще и то, что когда дети уходят на учебу, а Галина на работу, у нее душа поспокойней—все-таки в доме жива душа есть.

Бывает, по вечерам к Галине наведывается Мишка-милиционер. Шумливый, громкоголосый. Всякий раз приносит бутылку коньяка. Щедрой рукой наливает полный стакан, идет к старику в запечье.

— А ну, тезка, вздрогни-ка.

Старик Михайло отказывается:

— Такой дорогой штукой угощать меня—только зря переводить.

— Ты, дед, за это не переживай: такого добра у меня в каждом комке. Притом задаром,—Мишка-милиционер, довольный собой, гогочет.

— Ага. Громче кричи, чтоб все слышали,—ворчливо говорит Галина.

Мишка ноль внимания на ее слова.

— Давай пей, думки твои повеселей будут.

— Вряд ли,—со вздохом возражает старик.— Мне не сегодня-завтра перед ликом Господа представать, а я грешен перед ним. Годков десять от роду было, когда я у престарелой родной тетки своей утянул—натурально утянул!—гривенник и купил конфет у заезжего торговца. А тетка-то этот гривенник на свечку Николаю Угоднику берегла. Вот такие мои думки сегодня.

Мишка-милиционер опять гогочет:

— Ну и распотешный же ранешний народ! Про какой-то гривенник помнит. Глотни капельку и—забудется...

— Чего ты к нему привязался!—сварливо говорит Галина.— Иди сюда!

— Слушаюсь, мадам!—Мишка-милиционер возвращается к столу, походя норовит ущипнуть Галину за бок. Та уворачивается, хмуро, но незлобиво говорит:

— Ну ладно, ладно—успеешь...

1995 г.

ПРИБАВИТЕЛЬ НЕВОЛЬКИ

Павел Иванович Сидоров. Высокий, сухой, впалые щеки, взъерошенные волосы, кустистые, вскинувшиеся вверх брови, глубоко посаженные глаза, острый, насквозь тебя пронизывающий, приводящий в трепет взгляд. На шахте «Капитальная-1», которой он отдал всю свою сознательную жизнь, к нему относились по-разному. Но что личность эта неординарная—безусловно.

Институты Павел Иванович не кончал, всего лишь курсы ликбеза* в начале тридцатых да школу ФЗО. Благодаря природному недюжинному уму, пытливости да кремниевому характеру, постиг горную науку в совершенстве.

В первые дни войны с должности начальника добычного участка ушел на фронт. Через несколько месяцев получил приказ ехать домой, вернее, на шахту. Принял развалившийся участок. Осмелился—это в войну-то—остановить аж на трое суток. Трое суток не выходил из шахты... На четвертые участок перевыполнил план добычи.

Через какое-то время Сидорова перебрасывают на другой запущенный участок, потом на третий... «Где появля-

ется Жуков, там начинается наступление». И будет истинной правдой сказать: где появляется Сидоров, там начинался большой уголь. Во второй половине пятидесятых, когда я работал на той же шахте, Павла Ивановича продолжали бросать с участка на участок.

О нем рассказывали легенды и разные байки. Вот одна характерная. Когда начальник шахты Лев Моисеевич Резников (кстати, тоже интересная личность, но совсем иного плана) подписывал приказ об очередном переводе Сидорова на захиревший участок, Павел Иванович на три дня исчезал с шахты. Это для того, чтобы дать возможность лентяям и халтурщикам убраться восвояси, а крепким, стоящим, но расслабившимся мужикам настроить себя «на работу жаркую, на дела хорошие».

Славный, немногословный дядя Петя Сапожников, с которым мы такелажничали,— а до этого он проработал много лет навалотбойщиком,— бывало, поучал молодых: «Невмоготу уже или не хочешь работать—так ты невольки прибавь». Правило замечательное. Но оно для волевых да совестливых. А кто не обладает этими качествами? Таким прибавлял невольки волевой Павел Иванович. Подобные ему личности были в ту пору в цене, они вполне соответствовали жесткой правде, какая тогда была. И шел уголь...

1995 г.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ...

Рабочие аристократы, разные знатные перевыполнители плана вслед за своими чиновными патронами напыщенно возвещали: мы-де строим нового, невиданной и неслыханной красоты и гармоничности рабочего человека, да уж, считай, построили, осталось только устранить по-

следние шероховатости да бережно бархоткой пройтись. С таким упоением ввали самим себе, что даже сами верили. А на деле?

Не так давно рассказали мне случай.

У одного из отцов одного города было уже большенькое чадо по имени Степа, которое никак не могло сыскать свой жизненный путь — всё-то его не туда заносило. Родитель уже стал приходить в отчаяние, когда на городском слете передовиков услышал упоительное выступление бригадира ударной проходческой бригады о том, как он «из всяких отходов» делает «золотых работников». После слета отец города позвал бригадира к себе, взмолился:

— Пантелеевич, буду откровенным: боюсь я за судьбу своего Степки. Возьми его в бригаду и сделай из него что-нибудь путное. В долгу не останусь...

Пантелеевич, конечно, внял словам отца города, взял его непутевого Степку. И началась у него превеселенькая жизнь. Никакие уговоры на парня не действуют — бездельничает, насмешничает, пьет, прогуливает. Что с ним делать, ума не приложит делатель «золотых работников». На все случаи у него было одно-единственное, но безотказное воспитательное средство: матом да кулаком по окаянной шее разгильдяя. Но этот-то случай был особый — разгильдяй-то чьей крови? Применишь свое за десятки лет испытанное средство — может статься, не рад будешь. И, как Степкин родитель, Пантелеевич уже стал входить в отчаяние, когда в бригаду пришел выпускник профтехучилища Володька — парень вполне самостоятельный, смысленый, знающий. Но — порядок! — надо прикрепить его к наставнику. К кому?..

Напомню, наставничество у нас — как и все — красиво выглядело только на бумаге, особенно на газетной, а в действительности — фальшь, пускание пыли в глаза. Кто-то смехом возьми да и скажи:

— А прикрепить его к Степке-оболтусу.

Другие это приняли всерьез — по принципу: лишь бы не

на меня легла эта нагрузка. И сам Пантелеевич поддержал. Он рассудил: почувствовав себя малюсеньким начальником, может, остепенится, посерьезнеет хоть чуток оболтус.

— Берись, Степан.

Степан, паясничая:

— Мерси за высокое доверие. Не подведу коллектив. Как Бог Адама, вылеплю тебя, Вовк, по своему образу и подобию. Значит, после смены ведешь меня, своего наставника, в пивбар. Немного пойму, на что ты способен, немного понаставляю, потом... В общем, там видно будет. Идет?

— Конечно,— сказал Володька.

И они после смены пошли в пивбар. Посидели, поговорили. Потом пошли домой к Володьке, где у него было шесть пар голубей—с малых лет Володькина страсть. В тот же вечер он заразил ею и своего наставника. И стали они друзьями не разлей вода. Лепили один другого по образу и подобию порядочного человека.

Сейчас они оба инженеры.

А рассказал мне эту историю Степан.

1995 г.

ВЗДОХИ

Года четыре назад на шахте «Первомайская» появился новый директор. Не навязанный сверху, а выбранный в духе времени самим коллективом. Это был человек со стороны, опытный, думающий инженер.

На следующий день после вступления в должность он собрал всю свою команду и предложил:

— Будемте работать так. Чтобы я не связывал вашу инициативу, чтобы не было с вашей стороны упреков, что

я узурпатор, диктатор, все вопросы в пределах своих полномочий решайте самостоятельно. А какие-то нестыковки, неувязки будем устранять сообща. Вот в этом кабинете. Согласны?..

Команда возликовала: вот это директор! Начал с того, что осуществил заветную нашу мечту—даровал свободу действий. Многие ему лета!..

Прошла неделя, вторая. Все тихо, спокойно. К середине третьей недели в объединение пошли с «Первомайской» сердитые звонки:

— Наш новый директор не хочет работать: все свои обязанности разложил на других...

Не прошло и года, как опытный, думающий директор-идеалист сложил с себя полномочия. Команда облегченно вздохнула. Все вернулось на круги своя, не исключая и вздохов о свободе действий...

1995 г.

ДЕВОЧКА ТАНЯ

Год сорок третий.

В полустепных окрестностях города Топки, в небольшой, ныне уже не существующей, деревеньке жила-была девятилетняя девочка Таня Неверова. И двое ее младших братишек. И была у них мама. А папа воевал на фронте.

В страдную пору мама, колхозница, работала на дальней заимке. Один-два раза в неделю ей удавалось вырваться, чтобы попроведать детей да узнать, было ли письмо с фронта. Так что все заботы по дому лежали на Тане.

Она ходила за огородом, доила и обряжала корову, доглядывала за братьями, варила, чинила одежду, владела топором и молотком. В лихолетья, когда будто и само солнце тускнеет и смотрит на землю уныло, дети разучи-

ваются смеяться и плакать—суровеют и мудреют, входят во взрослость.

Однажды Таня взялась за побелку. Братья вертелись возле и ненароком разбили настольное зеркало. А вечером явилась мать.

— Кто это сделал?—спросила.

Таня взяла вину на себя. Мужественно, без единой слезинки выдержала трепку.

И все-таки она была еще ребенком. Забрела как-то цыганка:

— Давай, красавица, погадаю...

— Расскажи про папку. Жив он, здоров?

Цыганка наворожила: и жив, и здоров. Совсем скоро будет у вас свидание с ним. Одарит большими гостинцами, деньгами...

На радостях девочка не пожалела, отдала гадалке подушку и чугунок.

В другой раз зашла женщина в лохмотьях. Показала куклу—настоящую, фабричную. Приняла девочка посмотреть и не было никаких сил вернуть. Выменяла на грядку морковки... Конечно, и за такие дела получала от матери взбучку.

А однажды на закате солнца вошли во двор трое военных. Попросились переночевать. Это были курсанты офицерского училища, возвращавшиеся с уборочных работ. Вид их был утомленный, лица серые, изможденные. Один—звали его Мишей—все заходиллся в сухом кашле. Таня живым духом затопила баню. Затем закатила под навес большую кадку, плюхнула в нее пару ведер воды, набросала раскаленных в костре камней, какие-то травы бросила. Накрыла кадку дерюжкой. Через какое-то время, деловая, строгая, приказала Мише:

— Раздевайтесь и—в кадку. Как рукой хворь сымет. Миша смутился, стал отговариваться.

— Кому сказано!?. А потом в баню мыться.

После бани расторопная хозяйка накормила-напоила гостей, уложила спать.

А поутру они увидели: одежды их выстираны, высушены, сапоги вымыты. А хозяйка у плиты—печет драники...

Таня проводила курсантов за околицу. Рассказала:

— Идите все прямо, прямо, километров семь. Потом будет свороток направо и сразу заимка. Там наша мама хлеб клейтонит. А от заимки до станции уже рукой подать. Да мама вам покажет дорогу. Счастливо вам.

Курсанты поблагодарили ее за все, пожали руку. А Миша еще и по русой голове погладил. И они пошли прямо, прямо... Дошли до заимки, отыскивали Танину маму, расхвалили ее дочь.

От приятных слов мама зарделась.

— Случится, еще когда будете в наших местах, так заходите...

Сейчас Татьяна Савельевна живет в Кемерове. Ей идет седьмой десяток лет. А мужу ее Михаилу Александровичу восьмой. Это тот самый курсант Миша. Летом сорок восьмого ему, уже капитану, действительно случилось быть в тех местах. Заглянул к Неверовым. Таня была совсем уже невеста.

— Пора замуж выдавать,—сказал Миша Таниной маме.

— Успеется. Ей еще два курса техникума осталось.

— Так я два года подожду.

Мама приняла эти слова как шутку. А Миша говорил всерьез. Через два года они с Таней поженились.

Сейчас у них трое сыновей и вдвое больше внуков.

1995 г.

КОГДА НАСТАЛО МИРНОЕ ВРЕМЯ

Когда началась война, мама моя работала в швейном цехе завода «Прогресс». А я ходила в детский садик. Однажды в нашей старшей группе появился новичок. Его звали Марат. Как сейчас вижу его перед собой: красивое овальное лицо, темные, очень густые, аккуратно подстриженные волосы, большие-большие грустные глаза. Похоже, он был из интеллигентной семьи—воспитанный, учтивый.

— Ты—вакуированный?—спрашивали его.

— Эвакуированный,— просто, без тени превосходства поправлял Марат.

Я быстро подружилась с ним. Он не по годам много знал. Часто рассказывал о своей прошлой жизни. Начинал всегда словами: «вот в мирное время...»

— Вот в мирное время мы с папой и мамой ходили в цирк и видели настоящего льва, он прыгал в огненный обруч... Вот в мирное время у нас был патефон и много пластинок, больше всего я любил слушать рондо Моцарта— оно почти для детей. Когда мы эвакуировались, я эту пластинку взял с собой...

Однажды на Первомай кто-то из воспитательниц принес в группу патефон, а Марат—рондо Моцарта. Оно всем нам тоже очень понравилось.

— Вот в мирное время,— рассказывал мне Марат,— мама на завтрак готовила мне глазунью.

— Что готовила?

— Глазунью. Из двух яиц. Разве не знаешь?

У меня о яйцах было плохое представление—забыла уже о них,— а про глазунью и не слышала. Марат охотно нарисовал мне словесно свое любимое утреннее блюдо мирного времени. И потом еще много раз рисовал и всегда так увлеченно и так детально, тонко, аппетитно, что я видела, обоняла, вкушала глазунью почти реально: ярко-

желтые, нежные, до головокружения вкусно пахнущие маленькие солнышки, приутопшие в белое, с виду похожее на густой молочный кисель, который нам давали в тот Первомай, когда мы слушали рондо Моцарта.

— Вот настанет опять мирное время, мы с мамой уедем в свой город и мама опять будет готовить мне на завтрак глазунью из двух яиц,— мечтал Марат.

— И моя мама, когда настанет мирное время, будет готовить мне глазунью,— вторила я ему, уже считая это блюдо тоже своим любимым и сглатывая слюну.

Однажды Марат в садик не пришел. Сказали, что он и его мама перешли на другую квартиру на другом краю города. Теперь о глазунье я мечтала одна: вот придет мирное время и...

Оно наконец настало. И однажды мама приготовила мне на завтрак глазунью из двух яиц: ярко-желтые, нежные солнышки в окружении белого... Предвкушая блаженство, взяла вилку... Я была разочарована и обескуражена: нет, это не глазунья—подделка какая-то, суррогат. А вот та, про которую рассказывал Марат, была настоящей...

1995 г.

ОСРАМИЛ!

Еще издали увидела Полина Караваяева возле трамвайного кольца у коксохимзавода длинную, извилистую очередь. Продавали камбалу. Три кило в одни руки. Василий, муж, любит эту рыбу пуше всякой другой. Стала. Торговал мужчина. Приземистый, краснощекий с маслянистыми зыркающими глазами... Господи, да это ж Зыков! Откуда?!

В войну Полина работала на азотнотуковом аппарат-

чицей. А Зыков был по снабжению. Ловкий мужик, пройдошный. И юбочник. Шибко ударял за Полиной Каравевой, в любви объяснялся, золотые горы обещал. После смены ждал на «ЗИСе» возле проходной, отвозил домой, на третью Заречную. Дорогими конфетами, шоколадом угощал. В гости навязывался.

— Нет,—говорила Полина,—я, Борис Степанович, мужняя жена.

— Солдатка ты, Полюшка. Тыщи вас, солдаток, нынче. Но из всех одна ты мне по сердцу. Давай, говорю, подружмся-слюбимся. А? Будешь как сыр в масле кататься. Я все могу. Уж если, меж нами говоря, бронь себе добыл, то все остальное-то... Царицей тебя сделаю. Ну?..

— Спасибо, Борис Степанович. Но какая из меня царица. Смешно даже.

— О-о, Поленька! Поглядишь в зеркало: в самой ты женской поре. А живешь одна... Давай-ка веди в избу. По рюмочке коньячка выпьем, пожалобишься мне на долю свою, а я тебя пожалею, приласкаю.

— Сын у меня, Борис Степанович.

— И хорошо. У меня всякие гостинцы для него.

— До свиданья, Борис Степанович...

Долго так было. Валентина Югова, мастер смены и давняя подружка Каравевой, говорила:

— Чего ты, Польша, манежишь-то его—другая ведь перехватит.

— Хочешь, ты перехватывай.

— И перехватила бы, да красой не вышла. А ты—дура набитая.

И Зыков то же сказал ей однажды в сердцах:

— Дура баба ты, Полина. Такой мужик к тебе ластится—клад ведь. Ну, дай хоть разок обойму да поцелую.

— Вчера от мужа письмо получила. И он меня обнимает и целует,—сказала Полина тоном, не оставляющим Зыкову никакой надежды.

— Что ж, ладно, любя. Но за мной, не обессудь, дол-

жок: осрамлю тебя на всю, как говорится, деревню...

На том и расстались.

А вскоре Зыков куда-то пропал. Говорили, проворовался, но откупился и улизнул. И вот без малого через десять лет объявился. И опять при выгодном деле—торгует.

Очередь двигалась медленно, а стоять на резком колючем ветру было зябко. Полина Караваева уже подумывала, не пойти ли домой, когда Зыков заметил ее и поманил к себе. Подошла.

— Здравствуйте, Борис Степанович.

— Здравствуй, любя моя! Это ж сколько лет, сколько зим,—сказал громко, явно чтоб обратить внимание очереди. И еще громче:—Сердитесь не сердитесь, бабы, а эту дамочку я отпущу без всякой очереди. Ведь я с ней, бабы, всю войну трепался. Ох, горяча-а-а была!.. Ну, Поля, где твоя сумка-то?..

Очередь всколыхнулась, загудела. В уши Полины врывались обрывки резких фраз осуждения: «Ах, шалава!», «Потаскуха!», «Бесстыжая морда!» Потом будто в беспамятство впала—не помнит, как до дому шла. Очнулась только, когда переступила порог. Заплакала навзрыд, уткнулась лицом в плечо мужа.

— Ты чего?!—всполошился Василий.

— Хотела камбалы купить. А он... принародно... осрами-и-ил...

— Да кто? За что? Уймись и расскажи толком.

Полина унялась, рассказала. И опять зашлась в плаче.

— Тьфу ты! А я уж думал... Да не реви ты, а то домо-вой сбежит от нас...

РЯСНЫЕ ТРАВЫ

Нескладно, прямо сказать, получилось у сапера Ивана Батюшкина. Уже в самые последние дни войны под Прагой при бомбежке ранило осколком чуть выше щиколотки. Сам, как умел, перебинтовал, сам добрался на попутке до госпиталя. Рассчитывал, недели через две-три и шрама не останется. Но—началась гангрена. Старый хирург Илья Захарович Громов потряс кудлатой головой, сказал окая—вятич был:

— Больно, парень, жалко мне твою резву ноженьку, но ... Зато, брат, жив останешься...

Отнял правую по самое колено.

В родную деревню под Марининском вернулся Батюшкин на деревяшке. Жена и двое мальцов были рады—жив. И плакали—жалко ногу.

— Не беда-а—выдюжим,—утешал Иван Алексеевич.

Потомственный плотник, Батюшкин занялся столярным, тоже немного знакомым, делом. На хлеб зарабатывал. Хорошо приновился к деревяшке—дом прирубил, стал сено косить. Между делом третьего сына сострогал. Если честно, дочку хотел. Но—солдаты тоже нужны. Словом, жил фронтовик.

К концу пятидесятых государство стало снабжать инвалидов войны мотоколясками. Батюшкин тоже собрал нужные документы, написал заявление—прошу выделить—и отправил куда следует. Стал ждать. Может, питал надежду, к началу сенокоса придет, тогда мне при таком-то транспорте и черт не брат будет. Через несколько месяцев получил Иван Алексеевич казенное письмо, в нем было написано: уважаемый тов. Батюшкин. Выделить вам мотоколяску не представляется возможным, так как ваша ампутированная конечность на 2 (два) сантиметра длиннее, чем предусмотрено положением о выделении...

Пристроил Иван Алексеевич бумажку на подоконник,

поник головой, задумался. Затем свернул сигарку, кликнул среднего сына:

— Минька, где ты там!.. На-ка вот, сын, сбегай за чекенчиком. Нет, погоди. На еще. Неси сразу уж поллитровку...

Два дня сидел в столярке своей, пил особо-московскую, смолил беспрестанно самосад, плакал и корил хирурга Громова:

— Эх, Илья Захарович, чего ты, славная душа, поскромничал, поосторожничал! Отхватил бы ножиком выше и было б аккурат. А так—не подпадает моя культя под положение... Минька, где ты там, друг любезный! Беги за поллитровкой—отец гуляет, парти-правительство славит за поддержку защитника Родины... Эх, «чарочку хмельную полнее наливай...»

На третий день рано поутру Иван Алексеевич собрался-снарядился и похромал на своей скрипучей деревяшке в поле. К полудню вернулся. Утер кепкой красный, взмокший лоб, объявил:

— Значит, что скажу, сыны. Завтра выходим сено кошить. Ох, и травы же нынче! Буйные, рясные травы!—глаза Ивана Алексеевича светились радостью.

1995 г.

ТРИ ИВАНА

В послевоенные годы в ЖКО завода «Прогресс» подобралась бригада плотников—три Ивана. Все трое в годах, все прошли войну. Один оборонял Ленинград, другой брал Одессу, а третий, дюжий, большоголовый, был на Черниговщине... полицаем у немцев. Потом оказался, не по собственной, конечно, воле, в Сибири. Отбыл срок и остался здесь.

Все трое были хорошими плотниками. Дружно пилили, рубили, колотили. С получки, а когда и так, брали по одной на брата, устраивались под кустиком. Дойдя до определенной кондиции, двое Иванов, ленинградский и одесский, задавали Ивану-полицая всегда один и тот же вопрос:

— Так, значит, как тебя, иуда, угораздило пойти в полицаи?

И всякий раз получали один и тот же ответ на белорусско-украинско-русском наречии:

— Та чертяка его зная, как...

Это был своего рода обмен паролями. После чего Иван-ленинградский заезжал в левое ухо Ивана-полицая:

— Нет, ты ясней говори!..

Иван одесский бил в правое ухо:

— Вспоминай, пёсье твоё мясо!..

Здоровый, сильный Иван-полицай не порывался давать сдачу: воспринимал оплеухи бригадников как справедливое возмездие за свой тяжкий грех перед людьми.

На этом кончалось. До следующего раза.

Однажды Иван-полицай явился на работу с новым топором.

— О, бачите? Из самой Эстонии вязен,— провел пальцем по лезвию. —Ниякого гвоздя не забоится.

Окантовывал Иван-полицай еловые бревна и не мог нарадоваться новым топором:

— О! Як нож в масло влазя. У-ух, богатый струмент. Ну прямо сам рубает!..

Когда время уже подходило к обеду, бригадники хитро перемигнулись, украдкой пошептались и послали Ивана-полицая занимать в столовой очередь!..

После обеда Иван-полицай сразу же, даже не покупив, принялся за работу. Окантовывал бревно и вслух радовался, какой хороший теперь у него топор. Перед очередным суком, крупным и корявым, размахнулся по-сильней, ударил и почувствовал что-то не то. Глянул на

лезвие—зазубрина, а в торце сука виднеется шляпка гвоздя. Скосил глаза на двух покуривающих Иванов и все понял. Отошел в сторонку, сел на чурбак, загорюнился. Потом достал из сумки поллитровку, загодя приготовленную для обмывки с бригадниками нового топора. Налил полный стакан, выпил залпом и продолжал молча горевать.

Иванов-злоумышленников это сконфузило. Они поднялись и пошли в магазин. Вернулись с двумя поллитровками. Подсели к Ивану-полицаяу:

— Ты это... не сердчай на нас.— Поднесли стакан с водкой.— Давай-ка, брат,— мировую.

Иван-полицай не принял стакан. Он рассуждал: я виноват перед вами, перед всеми людьми и терплю от вас нескончаемую справедливую кару. Все правильно. Но сегодня вы, двое из людей, провинились передо мной. И значит, тоже должны понести заслуженную кару. Такое рассуждение пробудило в нем жажду возмездия, подняло на справедливый бунт. Иван-полицай развернулся и залепил кулаком в ухо Ивану-ленинградскому. Развернулся другой раз и залепил в ухо Ивану-одесскому.

Два Ивана ошалело смотрели на третьего—гневного, яростного—и молчали.

— Теперько, мужики, будемо пить мирову. А потим станете пытать меня, як я зробывся полицаем...

Они—все трое—еще многие годы работали одной бригадой в добром согласии...

1995 г.

СПЛОШНЫЕ РАДОСТИ

Жена приехала вечерним поездом. Едва переступила порог, муж нетерпеливо спросил:

— Ну, как там она? Рассказывай.

Это он про дочь, которая учится в Кемерове на первом курсе института. Когда она приезжает на выходные и праздники домой, родители просят ее рассказать о своем студенческом житье-бытье. Однако всякий раз слышат одну и ту же короткую фразу: «Да все нормально». И весь сказ. А по глазам видно, по голосу слышно: не все там у нее хорошо. «Наверно, давай-ка, мать, езжай да разузнай все хорошенько». Собралась жена, поехала. И вот через три дня вернулась.

Сняла пальто, сапоги, прошла, поправляя на ходу волосы, в комнату, опустилась на диван. Муж сел в кресло напротив.

— Хорошо там,— горько усмехнулась жена.— У всех сплошные радости.— После короткой паузы стала разъяснять:— До трех на лекциях сидят. Лекции закончились— в гардероб. Одежда цела, не утащили— вот тебе уже и первая радость. В автобусе сумку не порезали, кошелек не вытащили— другая радость... Поднялись в общежитии на свой этаж, еще издали шеи вытягивают: не выбита ли дверь? Цела— радуются. Легли спать и до утра никакая пьянь не ломилась— большой праздник. Если же разными хитростями ворвались два-три подонка, а девчатам хитростями же удалось их выпроводить— снова радость. Ну, а оплошали... Тогда радуются, что хоть живыми оставили, потом радуются, что дурной болезнью не заразились, что не забеременели... Вот в такой радостной обстановке и живут день за днем...— вздохнула.— А еще ведь целых четыре года ей... Что делать-то?..

В комнате воцарилась печальная, гнетущая душу тишина. Ее дробили часы на серванте. Красная секундная

стрелка бежала по бесконечному кругу так суетливо и так нервно, будто все она понимала и в угоду хозяевам хотела поскорее преодолеть путь в четыре долгих года.

1995 г.

СМЕРТНЫЙ ГРЕХ

Августовская теплынь. Улица. На лотке сами себя нахваляющие яблоки—розовобокие, одно к одному, ароматические. И никого возле. Попросил молодую-чернобровую взвесить два кило. Подставил под наклоненную чашку пакет. Подал новехонькую десяти тысячную—замечу, это были еще деньги. Приняла, опустила в угол картонной коробки. В другом углу стала подбирать сдачу. И что-то, показалось мне, не так она. Но решил, что зрение меня подвело. Положила стопочку бумажек мне на ладонь. И я уже было чисто по-русски—не глядя—в карман. Но все-таки нет, дай, думаю, посмотрю. Посмотрел. Говорю:

— А что это вы мне дали-то?

Черные червячки бровей скакнули вверх, вся подобралась, напыжилась—приготовилась к схватке, а пока ждала, что я дальше.

Отделил от прочих бумажек десяти тысячную, говорю:

— Я вам подал точно такую же. А вы мне эту да еще и присовокупили...

И—метаморфоза: черные червячки опустились на место, а черные глаза забархатели, затеплились, благодарят, ласкают, целуют меня... Еще бы! Тогда, говорю, десять тысяч чего-то стоили, думаю, не один день она их зарабатывала. Потому и безмерно рада, что я не воспользовался ее оплошкой... Продолжает глазами ласкать, целовать меня. вся млеет, дыхание сделалось сбивчивым—

сейчас, вот сейчас разомкнутся уста ее и произнесут это слово—простое, короткое, легкое...

Нет, не произнесли—не позволила произнести, будто она, все они, принадлежащие к этому профессиональному цеху, дали священный обет вечного неупотребления этого слова, иначе возьмут на душу неискупимый смертный грех...

1995 г.

ОФИЦЕРЫ

Муж уехал в командировку. Вернулся домой раньше, чем жена ожидала...

— И застал свою благоверную с любовником,—подсказываешь, читатель.

Да, да. На этом «раньше, чем жена ожидала» построено множество анекдотов. Я же вам рассказываю действительный случай, происшедший в первые послевоенные годы с капитаном Останиным, назову его так.

Был капитан высок, статен, с мужественным лицом и умным взором голубых глаз. Он знал себе цену. И был весьма удивлен, что жена его, тоже видная женщина, вступила в любовную связь с майором Субботиным—незрочным, конопатым, с всегда взъерошенными темно-каштановыми волосами, делающими его похожим на лешего. А сейчас вдобавок ко всему щеки и подбородок майора поблескивали медью щетины.

— Ты же, приятель, в обществе дамы, а — заросший. Неприлично,—с усмешкой сказал Останин.—Давай-ка приведу тебя в порядок.

Капитан поправил на ремне бритву, вежливо пригласил майора-юбочника сесть на табуретку. Субботин, дрожа от страха, повиновался.

— Майор, давай держать себя в руках,— строго сказал Останин.— Все-таки мы—фронтовые офицеры.

Майор успокоился было. Но когда Останин, намылив лицо, приблизил к горлу бритву, клиент потерял сознание и свалился с табуретки. Пришлось поднести к его носу ватку с нашатырным спиртом.

— Нет, ты, брат, не мужчина. Тряпка,— укорил парикмахер, вновь усаживая клиента на табуретку. Приказал:— Сидеть ровно!..

Покончив с бритьем, капитан отер гладкое лицо Субботина свежим махровым полотенцем, вспрыснул тройным одеколоном, заодно причесал волосы.

— Посмотри, какой ты теперь,— капитан Останин поднес к лицу Субботина небольшое настольное зеркало.— Нрависья самому себе?.. Теперь ступай, дружище, с миром.

Майор Субботин ушел. Теперь он был не темно-каштановый, а совершенно седой...

1995 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

Слепой дождь	6
Едришкина качель	16
С легким сердцем	25
Цок, цок...	33
Нечистая сила	37
Разлюли-малина	49
Триптих	78
Вежливая музыка	93
Обратные журавли	102
Дядя Тарас	114
Две Анны	122
Из письма другу	128
Горячий привет	132
Други дорогие	136
Переполох	143
Доверительные беседы	147
Негодник ты мой хороший	152
«Сени новые, кленовые, решетчатые...»	158
Родственные натуры	162
Под солнцем России	170

ВОЗГЛАСЫ

Двуединство	178
Беда	178
Сон	179
Вышивание крестом и гладью	182
Большая игла	183
Цып-цып-цып!	186
На лошадках	188
Пара казенных сапог	189

Долгая неделя	189
Елена-премудрая	190
Притча о воробье	192
Во дворе на лавочке	193
Заложники страха	194
Потрясающий афоризм	197
Не дай, Господь!	199
Две меры зерен	199
Экзотика	200
Соломон	201
Экзамен	202
И боль, и радость	204
Маша плакала	205
На пепелище	207
Моления и труды	208
Тост	210
Фантазия	211
Диалог через порог	212
Достойная последовательница	214
Впечатление	215
Дети одного отца	217
Загадочное сочетание	219
Вся подноготная	220
Доподлицно	222
Территория	223
Мужики	224
И настала пора	227
Коля Долгов	230
Лучезарный чудодей	233
Невероятное совпадение	235
По соседству	237
Страшно	239
Не баран начихал	241
Житейское дело	244
Ревнитель морали Ерш	246
По жердочке	249

Истинное происшествие	251
Новая вариация на тему старой сказки	253
Роковой исход	256
Оригинал!	258
Тезки	259
Прибавитель невольки	260
По образу и подобию	261
Вздохи	263
Девочка Таня	264
Когда настало мирное время	267
Осрамил	268
Рясные травы	271
Три Ивана	272
Сплошные радости	275
Смертный грех	275
Офицеры	277

Художественное издание

Куропатов Владимир Федорович

ДОЛГАЯ НЕДЕЛЯ

Книга прозы

Редактор **В. М. Мазаев**
Художник **В. П. Кравчук**
Технический редактор **Г. Н. Мамохина**
Корректор **С. А. Мазаева**

Сдано в набор 26.11.96. Подписано к печати
24.02.97. Формат 70x108^{1/32}. Бумага типографская.
Гарнитура Литературная. Печать высокая. Усл.
печ. л. 12,25. Усл. кр.-отт. 12,43. Уч.-изд. л. 13,12.
Тираж 2000 экз. Заказ № 2206. Цена свободная.
Издательство «Ковчезек», 650099, г. Кемерово,
пр. Советский, 40. Кемеровский полиграфкомби-
нат, 650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.

15Р.

ВЛАДИМИР КУРОПАТОВ ДОЛГАЯ НЕДЕЛЯ



...И все-таки! Не быть Руси без праведника! Пока есть Русь, будет и праведник. Пока есть праведник, будет и Русь. Вечное двуединство. В нем мы всегда находили утешение, исход и свое спасение...

Вл. Курпатов